А. ГОЛИЦЫНСКИЙ

# ОЧЕРКИ ФАБРИЧНОЙ ЖИЗНИ

(1861)

П · Р · И · Б · О · Й

А. ГОЛИЦЫНСКИЙ

PG3460
G66
03
1927

# ОЧЕРКИ ФАБРИЧНОЙ ЖИЗНИ

2-е издание, под редакцией
и со вступительной статьей
П. Е. ЩЕГОЛЕВА

UNIVERSITY LIBRARY
UNIVERSITY OF NORTH CAROLINA
AT CHAPEL HILL

РАБОЧЕЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРИБОЙ»
ЛЕНИНГРАД

PRINTED in U.S.S.R.

ГОС. ТИПОГРАФИЯ
имени
ЕВГ. СОКОЛОВОЙ
ПР. КРАСН. КОМАНДИРОВ 29
ЛЕНИНГРАДА

1927

Ленинградский Гублит № 39286 Тираж 3.000—7 л. Заказ № 887

## А. П. ГОЛИЦЫНСКИЙ И ЕГО ФАБРИЧНЫЕ ОЧЕРКИ.

Ни название книги ни имя автора ничего не говорят современному читателю, — не только ему, но и современному записному знатоку истории нашей отечественной словесности. И, тем не менее, мы решаемся предложить вниманию именно современного, массового читателя эту книжку. Именно *он* должен с интересом отнестись к этой маленькой, простенькой книжке. Она — одна из книжек, которые играли крупную роль в борьбе рабочего класса и крестьянства за свое освобождение. По этим книжкам революционеры-народники вели агитацию и пропаганду среди рабочих и крестьян; этой литературой они снабжали городских рабочих, когда они отправлялись в деревню. Скудна была агитационная литература в то время: книжек, изданных в подполье или за границей, было мало, и приходилось удовлетворяться книжками, изданными легально.



LIBRARY
UNIVERSITY OF NORTH CAROLINA
CHAPEL HILL

Правда, агенты правительства не смотрели на то, что книга напечатана легально, пропущена цензурой, и преисправно забирали на обысках эти плоды легальных типографий; мало того, нахождения этих книжек было достаточно, чтобы забрать заодно с ними и их владельца. Среди такой нелегальной литературы, будившей мысль и сознание рабочего класса, одно из первых мест в 70-ых годах занимали воспроизводимые нами ныне „Очерки фабричной жизни" А. П. Голицынского.

Пропагандист 70-ых годов, один из самых выдающихся, С. С. Синегуб рассказывает, как он отправлял на лето 22-летнего рабочего Ляпунова. Он был уже грамотен до знакомства с революционерами, — а были и такие стремившиеся к осознанию своего положения рабочие, которых еще надо было учить грамоте. Ляпунов накинулся жадно на книжки революционера. И перед отъездом Синегуб снабдил его такими книжками, как „Прохожий" Григоровича, „Анчутка беспятый" Майкова и фабричные рассказы Голицынского. Это была агитационная литература. „Мы,—вспоминает Синегуб,—читали крестьянам многое, что задевало вопрос об их положении, поднимало вопрос об эксплуататорстве, о кулачестве, о тяжести податей, о том, что порядки на Руси не на правде зиждутся".

Правительство имело определенный взгляд на литературу народников - пропагандистов,

В известной записке министра юстиции графа Палена „Успехи революционной пропаганды", составленной в 1875 году и тогда же перепечатанной революционерами за границей, читаем следующую характеристику агитационной литературы и—среди нескольких других книг—и очерков Голицынского: „Подготовляя себе среди рабочего класса адептов [1] и помощников и, в свою очередь, пропагандистов, вожаки этого дела распространяли свои мысли и взгляды путем устной пропаганды, а также посредством огромного количества книг и брошюр, написанных в форме общедоступных народных рассказов. Таковы: «Дедушка Егор», «Митюха», «Степные очерки» Левитова, «Очерки фабричной жизни» Голицынского, «Сила солому ломит» и т. п. Во всех этих книжках пропагандируется мысль о безвыходном положении рабочего класса, об эксплуатации его капиталом, о гибельных последствиях кулачества, и, наконец, выставляются резкие примеры успешного протеста со стороны задавленного крестьянства и вообще низших классов".

В эту характеристику надо внести поправку относительно книжки Голицынского. Она вовсе не была написана с нарочитой целью создать агитку; у автора и мысли такой не было. По-

[1] Последователей.

этому в ней нет и тенденциозности, которая несомненно служит в настоящее время препятствием к воспроизведению и чтению агиток семидесятых годов.

Книжка Голицынского „Очерки из фабричной жизни“ имеет свою библиографическую судьбу. Первое издание с прекрасными рисунками Г. Шмелькова вышло в 1861 году в Москве, второе — в 1873 году; кроме того очерки вошли в 4-ый том „Повестей и рассказов“ А. Голицынского (Москва, 1868). С того момента, когда правительство освоило революционную значимость этой книжки, книжка исчезает из оборота и затем просто и из памяти литературной. Нужно сказать, что Голицынский был плодовитый писатель. Он был постоянным сотрудником юмористических журналов и листков. Уже в 1868 году он мог набрать своих небольших произведений на четыре порядочных тома. Он принадлежал к категории бесхитростных наблюдателей и описателей „нравов“, как тогда называли быт. По профессии он был врач, и материал для наблюдений у него был большой, но из всего довольно объемистого наследия только одна вещь выделяется из всех и заслуживает внимания, и эта вещь — „Очерки из фабричной жизни“. Автор сам приписывал серьезное значение своим очеркам. В своем предисловии к книжке Голицынский пишет: „В течение многих лет по-

сещая различные фабрики в качестве врача, я имел случай всматриваться со всех сторон в картину всевозможных коммерческих уловок, с одной стороны, а с другой—невознагражденного труда и зависимости, доводящей до пролетариата. Предстоящие фабричные очерки не составляют картины одной какой-либо фабрики, — это черты общие многим таким заведениям, а лица, мною очертанные, не портреты, снятые с кого-либо из деятелей на фабричной сцене, — это общие типы тех господ, которых мне удалось встречать на этой арене. Предлагаю эти беглые очерки читателям не для одного только развлечения от праздной скуки, а как ответ, писанный с натуры, взятый из фактов,—ответ, который, быть-может, наведет читателя на средство улучшить быт фабричного человека". Голицынский имел в виду филантропические настроения читателя и, конечно, никак не мог предполагать, что читатель-революционер набрел на средство улучшить быт фабричного человека и решил использовать эту книжку, чтобы открыть глаза фабричному человеку.

Момент, зарисованный Голицынским, — накануне освобождения крестьян, — принадлежит к любопытнейшим в истории русского капитализма и русской фабрики. Просто и объективно рисует Голицынский картину первоначального накопления, дает портреты жадных



5-3-74

до наживы новоявленных русских капиталистов—будущих коммерции советников и фабрикантов—и первых рабочих русской фабрики, еще не оторвавшихся от земли, но уже попавших в зависимость, которая создает в конце концов пролетария. Картинки рабочих нравов, набросанные неведомым автором, отдают ароматом эпохи, веют первобытной, наивной свежестью.

Автор действительно оказался неведомым. Несмотря на то, что ему принадлежит множество рассеянных по журналам очерков, несколько отдельных изданий, наконец четыре тома собрания сочинений, мы не могли при самых тщательных поисках найти какие-либо биографическне о нем данные; даже года его смерти не удалось установить. В обычных библиографических пособиях, в энциклопедических словарях того времени о Голицынском только всего и сообщается, что он—писатель из народного быта и автор таких-то и таких-то книг. И больше ни слова.

Такова судьба книги и ее автора.

В настоящем издании мы воспроизводим текст по изданню 1861 года и отличные рисунки Г. Шмелькова, к нему приложенные.

*П. Щеголев.*

# ОЧЕРКИ

ИЗЪ

# ФАБРИЧНОЙ ЖИЗНИ.

Соч. А. Голицынскаго

Съ рисунками *Г. Шмелькова.*

МОСКВА.
Въ типографіи И. Чуксина.
1861.

## НЕСКОЛЬКО СЛОВ ОТ АВТОРА.

В гражданской жизни нашей много поднято человечных вопросов филантропическим направлением нашего времени. Между прочим, возник вопрос и об улучшении быта рабочих, приписанных к фабрикам и заводам частных владельцев; но этот вопрос обсуждается только официально, административно; литература же и общество до сих пор не обращали еще должного внимания на этот класс фабричных тружеников. В особенности теперь, при возрастающей дороговизне необходимейших жизненных потребностей, при уменьшающейся постепенно плате за фабричный труд и в особенности при убавляющейся ручной работе, по мере усиления машинного производства, работники, приписанные к фабрикам, достойны искреннего участия людей, способных сочувствовать ближнему! — Помещичий крестьянин-земледелец, возделывающий наделенный ему участок, дворовый человек — накормленный, отопленный, обутый, одетый помещиком своим, — эти люди благоденствуют в сравнении с работником, прикованным, так сказать, к какой-нибудь фабрике, где он за труд свой получает задельную

плату, какую хозяину заблагорассудится ему заплатить, и то еще со многими различными вычетами. Иной богатый фабрикант с коммерческою ловкостью пользуется положением фабричных; такой почетный туз, чтобы удержать рабочих в совершенной зависимости своей, часто употребляет чрезвычайно тонкие и притом темные фокусы, так что, право, не знаешь, чему более изумляться — коммерческому ли расчету хозяина, или покряхтыванию и почесыванию рабочих; и такой коммерческий деспот не употребляет никаких насильственных, принудительных мер для удержания рабочих в зависимости, — нет, сохрани бог! Он только посредством различных и, повидимому, весьма справедливых расчетов, учетов и вычетов достигает того, что рабочий трудится для него почти без выгоды себе и потому никогда не выходит у него из долгов. Не скажу однако, чтоб все вообще фабриканты поступали таким образом; есть, конечно, и между ними люди, вполне и справедливо воздающие рабочему за труд его, а потому и не приобретающие в самое короткое время миллионов и почетных званий. Оно странно, конечно, но, к несчастию, подтверждается фактами, что фабриканты, производящие товары хорошего достоинства, из надлежащего по качеству и количеству материала и притом расплачивающиеся со своими работниками справедливым образом, не долго выдерживают конкуренцию со своими собратами, которые ловкими коммерческими изворотами не только приобретают перевес над первыми, но еще какою-то невидимою силою или заставляют их подчиняться своей мудрой системе, или

же совершенно стирают их с лица фабричной промышленности,—и тогда горе побежденным!

Правда, в настоящее время правительство приняло деятельное участие в решении этого важного вопроса: на поссессионных крестьян, приписанных к фабрикам и заводам частных владельцев, распространено высочайше утвержденное в 19-ый день февраля 1861 года положение о крестьянах, вышедших из крепостной зависимости. Должно полагать, что крестьяне-землевладельцы и дворовые люди скорее и действительнее воспользуются благодетельным влиянием этого преобразования, чем фабричный люд, если только сами хозяева фабрик не захотят содействовать улучшению их быта. Это предположение основывается на том именно, что фабричные работники, в ряду многих поколений занимающиеся исключительно одного рода работою на той именно фабрике, к которой они приписаны, не имеют навыка к другим занятиям и потому должны довольствоваться тою заработною платою, какую им предложит хозяин фабрики по своему личному усмотрению. Эти отношения хозяев к рабочим производят весьма невыгодное влияние даже и на нравственное достоинство последних. Поступая с детства на фабрику, эти люди от постоянного столкновения с корыстными уловками и хитро-коммерческими изворотами, постепенно привыкают к обману и бессовестности, а для успокоения восстающей подчас совести прибегают к известному на Руси средству, утоляющему все горести и печали. От этого класс фабричных и пользуется у нас, в особенности под Москвою, не совсем-то выгодною репутациею.

В течение многих лет посещая различные фабрики в качестве врача, я имел случай всматриваться со всех сторон в картину всевозможных коммерческих уловок, с одной стороны, а с другой — невознагражденного труда и зависимости, доводящей до пролетариата. Предстоящие фабричные очерки, из коих некоторые были напечатаны в „Развлечении“, не составляют картины одной какой-либо фабрики, — это черты общие многим таким заведениям, а лица, мною очертанные, не портреты, снятые с кого-либо из деятелей на фабричной сцене, — это общие типы тех господ, которых мне удалось встречать на этой арене. Предлагаю эти беглые очерки читателям не для одного только развлечения от праздной скуки, а как ответ, писанный с натуры, взятый из фактов, — ответ, который, быть-может, наведет читателя на средство улучшить быт фабричного человека.

# ОЧЕРКИ
# ИЗ ФАБРИЧНОЙ ЖИЗНИ

## Очерк I.

### Небывалая рыба и особого устройства машина.

Служивши некогда врачом в уездном городке N...ой губернии, езжал я иногда на одну фабрику верст за восемнадцать от города, в случае если фабричный доктор, постоянно впрочем страдавший ожирением, делался серьезно болен или отлучался куда-нибудь надолго...

Но прежде я должен познакомить моего читателя и с фабрикой, о которой хочу рассказать, и с самими фабрикантами, без чего очерки мои не будут иметь надлежащей полноты. Это была, изволите ли видеть, большая мануфактура, устроенная в диком лесистом месте, на берегу небольшой, но быстрой речки Проворки, и принадлежавшая двум богатейшим купцам в губернии братьям Ватрушкиным. На ней работало тысяч никак до трех народу и жило полдюжины англичан, выписанных прямо из Манчестера; а в былое время имелся там, говорят, даже и брандмейстер для всякого пожарного случая, да однажды, во время пожара, кто говорит, будто нечаянно, а другие рассказывают, что

будто вишь с умыслом, окатил он из пожарной трубы директора фабрики, так после такого случая личность эта, как необыкновенно зловредная, была не только уничтожена там навеки, но даже и говорить об ней на фабрике запрещено было строжайшим образом, как некогда запрещено было говорить про Емельку Пугачева. Ну-с: местоположение было — прелесть! — жаль только, что немного низменное и болотистое, вследствие чего работники беспрерывно страдали злейшими перемежающимися лихорадками. (Местоположение, впрочем, от этого нисколько не портилось...). Зато жизнь для работников на этой фабрике была самая привольная. Куда! — в нашем уездном городе в половину нельзя было иметь тех удобств, какие можно было найти там: там, например, были устроены от самих хозяев — хотя они держали это почему-то в сильном секрете — два, так сказать, увеселительные заведения: овощная лавочка, нечто вроде... да нет, сравнение едва ли приищешь... Такого заведения не существует ни в Москве, ни в Петербурге, ни даже в Лондоне. Лавка эта была в одно и то же время: лабаз, погребок, булочная, кондитерская, мясная лавка, рыбная лавка и модный магазин, и в ней, следовательно, можно было найти все, начиная с сена, дегтя и хомутов, до самых тончайших галантерейных поделок и даже кринолинов; а другое заведение — это был трактир. Что? вы не верите, чтобы на фабрике можно было открывать трактиры? Трактир — честью вас уверяю! Да еще это бы все ничего, — главное-то дело заключалось в том, что фабричные имели

право в обоих этих заведениях брать на *книжку* во всякое время дня и ночи все, чего только душа желает, — даже модные материи отпускались на *книжку*. Зато оба эти заведения приносили хозяевам доходу столько же почти, сколько и самая фабрика. И для хозяев, значит, было оченно хорошо и для работников оченно приятно!..

Носился, впрочем, слух, что расплачивались с работниками Ватрушкины честно.

Вследствие всех этих причин, мужички нашего уезда смотрели на фабрику, как на землю обетованную, текущую медом и млеком, и валили туда толпами, чтобы только как-нибудь попасть в это Эльдорадо.

Теперь мануфактура эта, как сказывают, начала поупадать немного, но в то время она гремела по всей губернии и, гляди, чуть ли не была известна самому китайскому императору, потому что некоторые произведения ее отсылались в большом количестве в Кяхту и выменивались там китайцами на чай, которым Ватрушкины торговали в больших размерах.

Что касается до сих последних, то это были люди, украшенные всеми возможными качествами, необходимыми для русского фабриканта тогдашнего времени: оба были ребята ражие, краснощекие и упитанные, как тот телец, который некогда был предан закланию по случаю возвращения блудного сына под кров родительский; оба, хоть и плохо, знали читать и писать по-русски и разумели три первые правила арифметики: четвертое, то-есть деление, как-то им не далось... оба имели по большой золотой

медали на шее; оба, наконец, были церковными старостами в своих приходах; всякий праздник скликали огромные толпы нищих к своим воротам и рассылали калачи в острог и в общественные больницы, — одним словом, слыли по губернии благодетелями рода человеческого.

Можете же себе представить после всего этого, каким уважением пользовались они в нашем уезде.

У бывшего нашего исправника, а также и у станового, и теперь еще висят на стенах их фотографические портреты: у исправника, как у человека военного, рядом с Шамилем, а у станового, как вышедшего в люди из духовного звания, по бокам какого-то архимандрита. Кроме того, в фабричном доме самих Ватрушкиных, как я узнал впоследствии, существовали две комнаты, из коих одна называлась архиерейская, а другая губернаторская, — знак, что и такие высокие особы удостоивали их своим посещением.

Об их уме, характере, взглядах и убеждениях я судить не берусь, потому что знал их очень немного; притом же они были чрезвычайно хитры и осторожны, и с людьми, не принадлежавшими к их обществу, никогда не высказывались. Ощупать их головы по методе доктора Галля тоже было дело довольно затруднительное, — и потому маленькое понятие, которое я об них составил себе впоследствии, — так это, знаете ли, по каким признакам? По ушам. Что вы, читатель? После галлевской методы это вернейший патогмонический признак. У старшего ушки были маленькие, аккуратные, очень красивые

и чрезвычайно плотно прилегавшие к затылку, а у младшего они были гораздо мягче, длиннее, не так красивы и торчали в стороны, как у тушканчика. Кроме того, старший был господин необыкновенно опрятный, чопорный, высматривал джентльменом . и носил всегда стоячие воротнички, которые удивительно плотно облегали его полные, розовые щеки, и никогда нельзя было заметить на них ни единой морщинки, ни складочки; младший, напротив, мало заботился о своем костюме: воротнички были у него постоянно измяты, испачканы и торчали так же, как и уши, кой-как, один в одну, а другой в другую сторону. Из всего этого с некоторою вероятностью можно было заключить, что старший был человек робкий и осторожный и обладал более, так сказать, административными способностями, а младший, стало-быть, был несравненно общительнее, смелее и способностями был одарен более исполнительными. Смелость его ярко выражалась уже и в том, что он выучился тихонько от отца танцовать французскую кадриль, несмотря на то, что подобная сатанинская потеха чуть не под смертной казнью была запрещена в доме.

Чтоб проверить свои предположения, я несколько раз пытался расспрашивать про них у фабричных, но толку трудно было добиться; по большей части они отзывались обыкновенно следующим образом: да кто ж их знает, ваше благородие, что они за люди такие — разве в них влезешь? Ведь в них не влезешь... Кабы они почаще на фабрике-то бывали да сами входили во что-нибудь, а то ведь они сами-то почесть ни во что не

входят... всем дилектур распоряжается... Так, межеумки какие-то... Еще младший-то, Микита Самсоныч, так, ничаво... а уж старший, Сила Самсоныч, — ввах!..

Ватрушкины действительно редко бывали сами на фабрике, и всем делом заправлял у них директор Сидор Астапыч Ослов, человек сухой и длинный, как складень, хотя тоже происходил из купеческого звания. Фабричные преуморительно острили над ним на этот счет: так как уже сказано было выше, что местность на фабрике была низменная, лесистая и болотистая, то, вследствие этого, в известное время года водилось там бесчисленное множество комаров, — так фабричные бывало и говаривали: „Здешние, дескать, комары не кусаются, потому об Сидора Астапыча все носы поломали".

Надобно вам сказать, что Сидор Астапыч этот был существо чрезвычайно загадочное: например, становой и многие другие, кто знал его коротко, рассказывали, что это был человек ума необыкновенного, — между тем как никто и никогда не слыхал от него дельного слова; тих, скромен и смирен был он до того, что не только никогда не горячился, даже голоса никогда не поднимал с фабричными, — а между тем фабричные боялись его как огня и кроме антихриста другого названия у них ему не было; в фабричном деле, по словам англичан и приказчиков, ни уха ни рыла не смыслил и только мешал делу своими распоряжениями, — а хозяевам казалось, что, умри сегодня Сидор Астапыч, завтра же все машины остановятся, и прахом пойдет вся фабрика. Странный был человек. Меня же,

как медика, интересовало в нем более всего то, что он по всему уезду слыл за девственника и злейшего ненавистника женского пола. Некоторые данные для этого в нем, пожалуй, и были: так, например, неимоверная худоба, о которой я упоминал выше, постоянно потные и как лед холодные руки и, наконец, боль в спинных позвонках, на которую он всегда жаловался; но все это в то же время могло зависеть и от других причин. А хотелось мне ужасно повернее об этом дознаться. Думал я иногда, не было ли тут каких-нибудь физических причин, то-есть не принадлежал ли он к какой-нибудь раскольничьей секте, — да нет, борода у него росла, и, кроме того, человек он был религиозный до того, что даже по понедельникам не брал в рот скоромного. Подсмеивались некоторые, что он находился будто бы в непозволительной связи со старой хозяйской домоправительницей Кузминишной, — от этого, вишь, все это и было шито да крыто; но ведь и это могло быть одно только предположение, сплетня пожалуй... Впрочем, о Сидоре Астапыче, как о личности необыкновенно замечательной, мы подробнее поговорим в свое время.

Так вот-с на эту-то фабрику я и путешествовал иногда в виде временного врача.

Я останавливался постоянно у Сидора Астапыча и приезжал большею частью вечером с тем расчетом, чтоб осмотреть на другой день пораньше больных и пуститься поскорее в уезд по другим обязанностям.

Однажды я приехал туда накануне какого-то праздника. Это было, как теперь помню,

в первых числах июля. Сидор Астапыч раздавал в это время фабричным жалованье. Я осмотрел каких нужно было больных и, как оставаться одному в его квартире было немножко скучно, то я и пошел потолкаться, от нечего делать, по нагорному берегу Проворки, поросшему сплошным сосновым лесом вперемешку с осиной, кленом и березником. Вид вдаль с этого места особенно был хорош, хотя глазу ничего не представлялось, кроме бесконечного, темного леса, который бежал куда-то верст на полтораста, не прерываясь. Наступал вечер; солнышко медленно опускалось после томительно жаркого дня, и все, что только оно обхватывало своими лучами, все это было залито, так сказать, теплыми, золотистыми потоками света, который сплошными яркими пятнами ложился на песчаных береговых обрывах, на стволах дерев, на сухой истомленной зноем листве. Вдали гремел колокольчик станового пристава; в реке играли какие-то рыбки, выскакивали и, сверкнув на воздухе серебром своей чешуи, тяжело опять шлепались в воду. Трава делалась заметно мокра от росы, и я пошел по самому краю берега, по узенькой тропинке, протоптанной фабричными. Вдруг я услышал голоса, раздавшиеся где-то невдалеке. Я случайно взглянул вниз — и увидел двух фабричных мужиков, которые, спустившись с песчаного крутого обрыва, стояли по колена в воде, подвернувши вверх свои синие китайчатые порты, и ставили верши для рыбы. В одном из них я узнал старого слесаря, давно уже жившего на фабрике и приходившего иногда ко мне в больницу с больной ногой; другой

был парень лет тридцати, с небольшой русой бородкой, в розовой ситцевой рубахе и в модном фабричном картузике, который с первого же взгляда изобличал в нем одного из опаснейших фабричных Ловласов.

Я тоже спустился недалеко от них и приютился на сухом песчаном мыску.

— Что, братцы, рыбу ловите? — спросил я у них.

— Да, вот завтра для праздника ушицы хотим похлебать, господин дохтур, — отвечал молодой парень, между тем как слесарь стоял, нагнувшись, и старательно привязывал к колышку вершу.

— А водится-таки рыба-то здесь?

— Как же, мало ль тут рыбы? да только ловить-то не смеем; вот и теперь уж так, значит, на страх пошли... а то Астапыч, дилехтур здешний, увидит — беда!

— Отчего ж?

— Да говорит, что эта река, вишь, на откупу у него, деньги заплатил, значит, — так окромя его никто, вишь, и ловить не смеет. Теперь вот, если поймаешь, понесешь на фабрику да он увидит, сохрани бог, — беспременно отнимет.

— Что ж он боится, что вы здесь всю рыбу выловите? — спросил я, засмеявшись.

— Не в том... господин дохтур: эвтого-то он может и не боится... а его должно-быть вот что больше в сумление приводит, что ежели тоись фабричные налягут на одну рыбу, так не будут в лавке провизии покупать — убытку, значит, боится, вот что...

— Ну, Микитка, — сказал слесарь, приподнявшись и погрозив на него пальцем:—когда-

нибудь ты за свой язык попадешь, уж я те сказываю.

— Небось!

— Ну, смотри.

Никита замолчал.

— Какая же тут рыба больше водится?— спросил я опять, желая поддержать разговор.

Слесарь опять приподнялся и, боясь вероятно, чтоб товарищ его еще чего-нибудь не выболтал, отвечал мне на этот раз сам:

— Да рыба здесь всяка водится, господин дохтур: окунь, плотва, таперича, голавлики набегают; бывает — иной раз налим и подлещики попадаются, хоть небольшие они, примерно, а есть; ну, а больше все щука, да мы ее почесь завсегда выбрасываем, потому от нее, вишь, лихоманка привязывается.

— Ну, брат, это уж не от щуки.

— Ой ли? А мы все так и думаем, что от щуки.

Между тем Никита во все это время стоял да посмеивался; так его, повидимому, и подмывало что-то такое высказать. Наконец он не выдержал.

— У нас здесь, господин дохтур, не токма рыба, — сказал он, тряхнув головой: — у нас здесь, пожалуй, и солонина водится...

— Как солонина! — вскрикнул я с невольным удивлением.

— Так же вот, водится, значит...

— Микитка! эй, не болтай, дурень! — перебил его опять слесарь: — узнает Астапыч, он те задаст солонину! Слышь, колокольчик-то звенит? Ведь не далеко...

— Как не слыхать. Уж вестимо чорт к лешему на ночлег едет...

— Ну, быть тебе на каторге!..

Ясно, что солонина эта была какая-то тайна, касавшаяся директора фабрики. Я начал убедительно упрашивать Никиту, чтоб он рассказал мне, что̀ это такое, и, чтоб задобрить его окончательно, дал ему четвертак на водку.

Слесарь только крякнул да покрутил головой.

— Вишь какое это дело, господин дохтур,— начал Никита: — для нас тут в лавке каждый год солонину солят, потому в свежей говядине мы почесь и скусу не знаем, что она и за говядина такая на свете есть... рази кто поденежнее, так, праздничное дело, фунтика два-три купит... а то нет... потому в городе дорога́, а здесь уж лучше и не приступайся — дороже пряников, значит... Вот прошедший год лавочник наш, Никанор Петрович, и насолил солонины, да такой солонины насолил, что не токма ее есть, — мимо лавки-то бывало пройдешь, где она стоит, так так те с души и воротит... Цынга эта пошла по народу такая — страсть! Половина фабрики почесь совсем обезножела. Дохтур наш, глядим, не вступается в это дело; становой тоже руку лавочника держит, — что ты будешь делать? В сумление в большое тоись ввела нас эта солонина. Подумали, подумали мы, напоследок сговорились, пошли все гулом к дилехтуру: так и так, мол, Сидор Астапыч, как хошь, а мы эвтой солонины потреблять не будем; она хошь и ничаво солонина, да уж, значит, никак нельзя, душа не принимает... Стали просить, чтоб он лавочнику переменить велел; а то, мол, коли ежели да не так —

расчет давай, потому еще помрешь от нее, пожалуй... Видит дилехтур, что дело не ладно: разойдется с фабрики народ — беда! „Хорошо, хорошо, — говорит, — братцы, ступайте вы по своим местам, а эвтой солонины больше не будет; я уж, — говорит, — и сам вижу, что не хороша". А солонины пропасть еще, целый чан ее в лавке стоит. Хорошо: вот и стали они это, дилехтур тоись с лавочником, советаться, куда бы им, например, эвту солонину сбыть? А лавочник у нас, Никанор Петрович, прожженный, — и-и-х! кажись, самого лешего обойдет. Поехал он этта — фабрикантик такой тут есть из мужичков, Афанасий Иваныч, верст за пятнадцать отселе, ткацкая фабрика у него, миткаль производит — поехал он к эвтому фабрикантику, ухитрился, надул как-то того,— сбыл солонину. Хорошо: начали есть у того работники. Ели, ели — нет, говорят, хозяин, как хошь, от этой солонины не токма человек — собака сдохнет. Тот видит, что и вправду дело не ладно, что тоись надул его Никанор Петрович — к становому: так и так, говорит, ваше благородие, прикажите им эвту солонину назад взять, а то, говорит, я дальше пойду. Глядим, чрез неделю места, опять эта солонина у нас в лавке стоит, и уж так тоись, что и приступиться нельзя... Ах ты, господи! Собрались этта мы опять промеж собой: как же, мол, так, ребята, ведь не с фабрики же бежать нам от эвтой солонины... Прах ее возьми и с деньгами-то... Сделаем, мол, складчину промеж себя, сколько, примерно, кто может, откупим ее, стерву, у лавочника, да и забросим куда-нибудь, чтоб и праху-то ее, значит, на фабрике не оставалось. Вот

хорошо: сделали мы это промеж себя складчину, купили эвту солонину, да в реке, вот в эвтом самом месте и потопили. Пропадай, мол, ты, окаянная, и с деньгами-то! Теперь хошь в лавку-то не попадешь по крайности... Так что ж вы думаете, господин дохтур? Уж знать на роду что ли ей было так написано: дня чрез три опосля того опять ведь в лавку попала, проклятая... Ей-богу, право!

— Ну как же, как же это, голубчик? Расскажи, пожалуйста, — спросил я, расхохотавшись.

— Да вишь как: мы ее, значит, здесь потопили, а Астапыч через три дня опосля того и пошел на это самое место рыбу ловить, пошел да нечаянно неводом вместе с рыбой ее и поймал, а она, знаешь, повымокла в это время в воде-то маненько, дух-от уж, значит, не тот, — вот он ее опять в лавку и отрядил за свежую...

— Ну, ты, городи, чего не знаешь! — перебил сердито слесарь: — в лавку вишь отрядил! чего не скажет...

— А то куда ж?

— Куда? вестимо выбросили.

— Толкуй! чай я не сам выдумал... вот спроси: Ванюшка небось, приказчик из лавки, рассказывал.

— Тоже нагородил.

— Чаво нагородил? Чай лучше тебя знают... Ты где в ту пору был? Вспомни-ка!

— Ну, смотри, Микитка!

— А чаво я буду смотреть? Я правду говорю. Вот хошь провалиться на эвтом месте, господин дохтур, — обратился он ко мне: — в лавку попала, ей-богу в лавку...

Между тем фабричные уставили, как следует, свой рыбный аппарат и стали взбираться на берег. Я тоже полез вслед за ними, и чрез минуту мы стояли уже на тропинке, по которой я шел с фабрики.

В это самое время вдали показался еще фабричный. Синяя суконная чуйка едва держалась у него на плечах, а картуз с козырьком почти висел на затылке. Он шел, сильно покачиваясь, останавливался по временам и громко разговаривал сам с собой, разбирая что-то на ладони указательным пальцем. Скоро мы с ним столкнулись. На ладони лежало у него несколько серебряных монет.

— А-а! Семен Прокофьич! — крикнул ему Никита:—что это ты лоб-то засучил, али жалованье получил?

Семен Прокофьич остановился, вытянул губы и опять положил на ладонь указательный палец.

— Хи... Микитка... эх, чорт те... леший эдакий...—проговорил он, с трудом отплюнув в сторону: —гляди, во... три двугривенных только от всего жалованья осталось... ей-богу три двугривенных... Хи... Микитка! да гляди, чорт... ей-богу три двугривенных... во они... вишь... все новенькие...

— Что ж так мало? по книжке что ль вычли? — спросил Никита.

Семен Прокофьич свистнул, махнул рукой и расхохотался, сильно покачиваясь на ногах.

— Все! ей-богу, все! Э... чорт его душу!.. Микитка, да ты мотри, дурак: ей-богу три двугривенных... Все как есть в конторе осталось... Ах, чтоб... Барин,—обратился он ко мне:—а ты меня прости Христа ради... с горя...

ей-богу с горя... Четырнадцать целковых в месяц получаю... во, мотри: три двугривенных только... все вычли... хи, чорт его...

— Отчего ж это так много с вас вычету? — спросил я у Никиты.

— Да уж мы и сами так-то промеж себя рассуждаем,—отвечал он:—что тоись эвто за диковинное дело такое? Кажется, и в толк не возьмешь... словно как у них для эвтого машина какая устроена... ей-богу право: что сколько ты таперича денег ни заработаешь и как тоись ты ни стараешься, чтоб лишнюю копейку куда не потратить — нет. Придешь в контору жалованье получать — все иной раз, случится, до рубля вычтут... Право, словно как машина какая...

Семен Прокофьич так и покатился со смеху.

— Микитка! ах ты, милый человек! — проговорил он, дружески толкнув его кулаком в грудь:—ну, давай поцелуемся... Верно сказал! Машина, ей-богу машина! Без колес ходит, точно чорт водит... Хи... Барин! ей-богу верно: машина! Во, мотри: три двугривенных... Микитка, милый человек... ах, чорт... и кто те это сказал? Верно! Право верно!

Семен Прокофьич плюнул, махнул рукой и, продолжая хохотать, отправился далее. Слесарь подумал, почесал бороду, подмигнул своему товарищу и пошел вслед за ним. Мы остались одни с Никитой.

— То-то, брат, и есть... вот у вас должнобыть машина та где устроена,—сказал я, щелкнув себя по воротнику.

— Эх, господин дохтур, да ведь иной раз нельзя, — возразил с горечью Никита. — Вы,

значит, порядков наших не знаете? Вот у нас таперь хошь бы заведение здесь устроено, трактир, примерно сказать: ну, как ты таперича в него не зайдешь? Дело наше тоже рабочее, а работа ночная, трудная... устал, тоже человек... ну, и с приятелем иной раз захочется погулять... все люди, все человеки тоже, господин дохтур... вот что... Двери же в трактире почесь завсегда настежь растворены: когда хошь ступай... Денег в кармане нет — ничаво! — на книжку поверят... Да, поди-ка, как ты... блазнительно!.. Кажись, иной раз и мимо бы прошел, — хоть бы ты, думаешь, и с фабрикой-то со всей сквозь землю провалился, проклятый! — глядишь: а там словно как в дверях-то стоит кто, да и манит тебя вот так-то: Микита, говорит, дурак, чаво ты?.. иди! Вот, как привычная лошадь в стойло — и заворачиваешь... А вино-то у нас вполовину водой разбавлено — так, значит, и выпил-то вдвое, да и заплатил вчетверо... вот ведь в чем, господин дохтур... так как тут?..

Я, признаться, невольно задумался.

— Али вот опять овощная лавка здесь: сколько тоже она у нас денег поедает — страсть! Потому харчи дорогие — приступу нет... Вот как таким образом месяц-то пройдет — глядишь, ан все жалованье-то у тебя в книжку и записано... все, стало-быть, опять и осталось в конторе...

— Так кто ж вам велит забирать все это здесь? — спросил я: — вы бы в других местах, где подешевле, брали.

— Эк вы что, господин дохтур, — возразил, засмеявшись, Никита. — Нет, уж у нас

здесь порядок, значит, такой: коли хошь жить на фабрике, то все уж должон у хозяина брать... хошь сто рублей фунт сто́ит, а уж бери, делать нечего... Да уж так все и приспособлено, что никак ты, тоись, ничего не поделаешь... Ежели, примерно, и купил что-нибудь на стороне — сейчас тебя часовой в воротах остановит, да к дилехтуру — ну сейчас и отберут все... напрасно, значит, и заплатил деньги. Потому ежели, говорит, вы будете на стороне товар брать, так нам, говорит, и торговать будет не из чего. А чтобы эдак водки пронести,—куда! шкалика не пронесешь, да еще полтинник штрафу заплатишь. В трактире, говорит, сколько хошь пей, хошь до смерти упейся, а со стороны—чтобы капли не было.

— Так неужели же вам буквально ничего не позволяют на стороне покупать?

— Хе! да не токма покупать, господин дохтур: прошедший год, — вот не плоше рыбы, что я тебе давича сказывал,— прошедший год Астапыч запретил нам грибы из лесу носить... вот хошь верь, хошь нет... Это он все боится, чтобы лавке, тоись, убытку не было, потому у него, сказывают, тут тоже свой пай вишь есть... Не пускают на фабрику с грибами, хоть ты что хошь... Так уж мы нашего хозяина упросили: хозяин уж разрешил, дай бог ему здоровье.

— Да, брат, это действительно на машину похоже, — сказал я Никите. — Ну, объясни ж ты мне, пожалуйста, что ж это вас так тянет сюда на фабрику-то, если вас здесь стесняют?

— Да бог знает что, — отвечал Никита, разводя руками: — так вот... народу много... житье-то уж больно привольное...

В это время мы миновали ворота, в которые входили на фабрику. Никита со мной раскланялся и пошел в сторону.

Астапыча я застал уже дома. Когда я вошел, он только-что собственноручно зажег пред образами лампадку и усердно клал земные поклоны.

---

## Очерк II.

### Больница.

К числу увеселительных заведений на фабрике Ватрушкиных принадлежала, некоторым образом, и больница...

Что, господа? Я вижу, вам это кажется удивительным? Читайте дальше, так уверитесь. Еще с вечера, когда фабричные ложились спать на нарах, в своих так называемых кухнях, где, надобно между прочим заметить, они были набиты как сельди в боченках, уж между ними составлялись самые затейливые проекты касательно больницы на завтрашний день.

— А что, Андрюшка, завтра в больницу пойдешь? — начинал какой-нибудь фабричный мальчишка, задирая кверху ноги и толкая под бок своего товарища: — я так пойду, лакрицы у дохтура выпрошу, скажу кашель.

— Ладно, дело! и я пойду! — отвечал Андрюшка: — ребята! кто еще в больницу? Мы со Спирькой идем!

— Я! я! мы! — откликались на это воззвание голоса по разным местам кухни.

— Акимка, а ты пойдешь лихорадку лечить?

— Кто, я? — откликался где-то Акимка: — нет, ребятки, ну ее... Нешто вот пойти на пузырек надуть дохтура... а то у меня давя утром пузырек кто-то спроворил... Да не даст, шельма... вороват...

— Нет, вот что, ребята, — присоединился еще голос: — соберемся завтра поболе народу, да пойдем дохтура задорить — вот так будет потеха! Ведь уж как же серчает — умора! Намеднись этта я прикинулся, что у меня серче болит. Уж он меня тыкал, тыкал пальцем в живот: тут? говорит. Нет. Тут? Нет! Искал, искал серча — не может, братцы, серча найти... Ах ты, господи!.. У меня инда бока от смеху расперло... А он опять: тут? говорит. Нет! Опосля догадался, должно, что я его омманываю — страсть как обозлился; чуть не подавился цыгаркой; насилу откашлялся...

В кухне раздавался обыкновенно дружный залп хохота, и несколько минут остроты и насмешки, бог знает за что, сыпались на голову бедного доктора.

— Нешто уж и мне, братцы, завтра в больницу сходить, спиртику от ноги выпросить,— вслед затем жалобно говорил чей-то хриплый голос: — а то, пожалуй, фершел Николай Васильич весь выпьет — опосля не добудешь...

— Сходи, сходи, Лукьяныч, — кричали с противоположной нары: — а то вишь и в самом деле, как тебя нога-то измучила — извелся, сердечный, в чем душа держится...

— Что делать, парень, видно бог за грехи наказал, — возражал еще жалобнее Лукьяныч и начинал стонать и охать на всю кухню. На нарах раздавался новый залп хохота.

— Девка, а девка...— где-то шушукались между собою две фабричные девушки... (У Ватрушкиных на этот счет просто было: все — бабы, девки, молодые парни, дети, старики и старухи — все помещались в одной кухне и спали вповалку, друг возле друга, кому где оставалось место...). Девка, пойдем и мы с тобой завтра в больницу, *финдербальзанчику* у дохтура выпросим, а то в воскресенье к обедне пойдем — нечем подушиться будет. Я всё капли гохманные брала для эвтого, да намедни от Марфутки Кутиловской понюхала нечаянно — она всё финдербальзаном-то прыскается, — так уж куда как хорошо да душисто пахнет.

— Не даст, девка... и то серчает... уж больно вишь много берут...

— Ничаво! прикинемся, что животы болят — даст. А то, мол, коль не хочешь лечить — к хозяину пойдем жаловаться... Уж дух-от мне, девка, больно нравится, уж пахнет-то больно душисто...

Таким образом, из полутораста человек, помещавшихся в кухне, непременно четвертая доля уговаривалась идти на другой день в больницу надувать доктора; а как таковых кухонь находилось на фабрике десятков около двух, то каждое утро в больницу и валила толпа человек в двести, с песнями и гармониями, отплясывая по дороге, кувыркаясь, задирая друг друга на кулачки и занимаясь другими, более или менее приличными гимнастическими упражнениями.

Доктор ожидал обыкновенно гостей в аптеке, которая представляла в это время нечто вроде медицинской кондитерской, и в

продолжение нескольких часов сряду раздавал им различные умыванья, гофманские капли, лакрицу, содовые порошки, *финдер-бальзанчик* и другие вкусные и приятные снадобья. Редкие приходили за делом, да и те большею частью совета его не требовали, а сами произвольно назначали себе лекарство. И как бы при этом требования их нелепы ни были, но исполнять их надобно было беспрекословно.

Дело в том, что доктор имел от Ватрушкиных тайную инструкцию отнюдь не стеснять фабричных больничными строгостями и давать им как можно более льготы. Читатель увидит впоследствии, что это входило некоторым образом в их политические расчеты по управлению фабрикой. Доктор с тем уж и определялся, что если фабричные по каким-нибудь причинам его не взлюбят, то он без всяких разговоров должен был утекать с фабрики. Фабричные, разумеется, это очень хорошо понимали и, следовательно, делали из больницы и из доктора, что́ хотели, а доктор, опасаясь потерять выгодное место, поневоле должен был подличать, кривить душой и смотреть на все это сквозь пальцы.

Очень естественно, что при таких условиях порядочные из врачей люди никогда не уживались на фабрике. Я приезжал только временно и то не знал иногда, что́ делать, и часто выходил из себя от досады и негодования. Много было досады, но много было зато и смеху; выдавались иногда случаи препотешные. Так например: является однажды ко мне в аптеку фабричный мужичок, кланяется.

— Что ты, любезный?

— Дюже голова болит, батюшка, ваше благородие, прикажи мне, сделай милость, бобковой мази дать.

Надобно заметить, что бобковая мазь была почему-то между фабричными в сильном ходу.

— Что ж ты будешь с нею делать, любезный?

— А вот возьму да голову себе вымажу, батюшка, ваше благородие: вон намедни у моей жены живот заболел — как бобковой мазью вымазалась, так сейчас и отлегло все... Уж сделай милость, прикажи и мне дать этого снадобья.

Я-было принялся изъяснять ему разницу между головой и желудком, куда! — мужичок мой и слушать ничего не хотел — кланялся, пожимался, чесал затылок, чуть не плакал и настойчиво требовал бобковой мази. Делать было нечего, дали ему бобковой мази. Но мне любопытно было посмотреть, каким образом он пустит ее в дело.

— Вот что, брат, вымажься-ка ты здесь сначала; мне нужно видеть, как ты это делаешь, а потом и ступай с богом,—сказал я ему.

— Для чего ж, изволь, ваше благородие, я и здесь вымажусь; для нас это все единственно, что дома, что здесь.

И мужичок вышел в коридор, осторожно придерживая ладонью баночку с мазью.

Жду, что́ будет. Фабричные стоят да посмеиваются. Смотрю, минут через десять входит ко мне мой мужичок чорт чортом: рыло все зеленью выпачкано, с головы течет, волосы скомкались, склеились и торчат жгутами какими-то во все стороны.

— Во... — говорит,—ваше благородие, вымазался!

— Вижу, вижу, любезный. Ну, что ж, легче ли стало?

— И-и! во как легко!

— Ну, с богом!

Ушел мужичок.

В другой раз приходит фабричный тоже с головной болью. И как теперь на него смотрю: физиономия глупая до последней степени, нечесаный, нос в саже, борода клочком каким-то, вполовину выжжена.

— Откуда тебя, голубчик, бог принес?— спросил я с любопытством.

— Из Шмаленской губернии, батюшка.

— Давно ли?

— Не-е... во в прошлое воскресенье две недели было.

— Где ж ты тут работаешь, что у тебя борода-то выжжена?

— В кочегарах, батюшка.

— Что ж тебе нужно?

— Шпанску муху, батюшка, мне от головы пожалуй — дюже уж голова болит.

Ну, шпанская мушка дело слишком обыкновенное—отчего ж и не дать? Велел дать ему шпанскую мушку. Поклонился мой пациент, вышел. На другой день утром опять является.

— Что, брат?

— Да что, родимый, прикажи мне другую шпанску муху дать, а та мне никакой помочи не сделала.

Вижу, что затылок у него совершенно чист — на затылке, значит, не лежала.

— Куда ж ты, мой милый, прикладывал-то ее?

— Да я, батюшка, ее никуда не прикладывал.

— Что ж ты с ней сделал, потерял, что ль?

— Не-е... батюшка, зачем терять? Я у твоей милости взял не за тем, чтоб терять...

— Да что ж ты, наконец, с нею сделал?

— Да я ее съел, батюшка... уж вестимо дело... что ж с ней больше делать? . Да вот все еще легости-то от нее нету-тка... так уж прикажи, сделай милость, другую дать.

— Значит, и эту съешь?

— Ничаво, батюшка, съем...

— Тьфу! Чорт тебя возьми, дурак! Да как же это угораздило тебя съесть-то ее, ведь она на тряпке была намазана?

— Да я, батюшка, тряпочку-те не ел; я, примерно, мазь-то только с нее ссосал... а тряпочку-то я тово... пожевал вот так маненько, да и выплюнул.

— И ничего особенного с тобой не случилось? — спросил я, удивленный до последней степени.

— Нет, оно, признаться, за серче маненько и похватало, — отвечал мужик, сильно чему-то ухмыляясь, — да я пошел, молочка попил, да выкупался опосля того, ну и ничаво — прошло...

Изо всего этого вы видите, господа, что между фабричными, приходившими по утрам за докторскими советами, царствовала совершенная эмансипация. Такая же точно эмансипация царствовала и между больными, лежавшими на койках. У них, между прочим, было какое-то поверие, что если больной

наденет больничный халат, так уж дело кончено — умрет неизбежно. Вследствие этого все больные, без исключения, оставались в своих костюмах. Кроме того, в больнице всегда почти находилось едва ли не вдвое больше посетителей и посетительниц, чем больных. Если фабричный, кончивши свою работу, не попадал почему-нибудь в трактир или в лавочку, то уж непременно отправлялся провести время в больнице — в карточки там, в шашки поиграть, или распить принесенную за пазухой косушку с страждущим приятелем. От этого больничные палаты, особенно для непривычного глаза, удивительно смахивали на вагон третьего разряда, битком набитый православными, отправляющимися в осеннее время из Тверской губернии в Москву на заработки: глаза ваши ничего тут не различали, выключая онуч, старых сапог, лаптей, армяков, всклокоченных голов и овчинных полушубков. Случалось, что возле койки другого больного торчали и соответственные его званию инструменты — пилы, лопаты, топоры и тому подобные принадлежности — аккуратно точно так, как это бывает часто в вагонах третьего разряда. Атмосфера и прочее, разумеется, как нельзя более соответствовали этой обстановке.

Должность обер-кондуктора в этом вагоне исправлял фабричный фельдшер Николай Васильич Запивалов, который по своим свойствам постоянно напоминал мне знаменитого понтийского царя Митридата, потому что без всякого вреда мог пожирать всевозможные ядовитые лекарства, в которых заключалось хоть малейшее присутствие чего-нибудь

спиртного. Разница между ними состояла в том только, что царь понтийский, сколько известно, никогда не страдал расстройством умственных способностей, между тем как Николай Васильич никогда почти не выходил из белой горячки. Бывало, когда хочешь зайти в больницу — вечно увидишь, что Николай Васильич, бледный, с помутившимися глазами, как шальной бегает по палатам с палкой или с ланцетом в руке и с ожесточением давит ногами различных гадов, которые, как этим людям всегда представляется, ползают по полу.

Стало-быть, этот фабричный сановник редко на что-нибудь был пригоден, и все больничные и даже хирургические обязанности исполняла за него старая сиделка Катерина Прохоровна, с давних пор находившаяся при этой больнице. Она пускала больным кровь, ставила банки, вправляла вывихи и перевязывала фрактуры. Но так как и Прохоровна любила в свою очередь куликнуть немножко на старости лет, то больные и распоряжались лечением, как хотели: те, которые были поумнее, еще принимали кой-как лекарство, но зато заедали его клюквой, творогом, солеными огурцами, или запивали водкой, — припасами, которые вседневные посетители приносили им в обильном количестве; от этого случалось нередко, что больной, еще сегодня подававший надежду на излечение, завтра утром совершенно неожиданно отправлялся в лучшую, хотя не столько привольную, жизнь. Но чаще больные не принимали никакого лекарства и лечили друг друга колдовством, наговорами и другими симпатическими

средствами; а чтобы эдак произвести какую-нибудь операцию, даже самую невинную, которая больному почему-нибудь не нравилась,— об этом и думать было нечего, особливо если это была операция такого рода, которую Прохоровне не совсем удобно было производить над мужчинами.

Однажды, проходя по коридору, я услышал, что Прохоровна призывает на помощь мое имя и звание. Я приостановился. На койке, возле самых дверей, лежал бравый отставной солдат. Прохоровна стояла возле него с трубкой промывательного в руке. Солдат лежал, закинув под голову обе руки, и искоса на нее посматривал.

— Ну, Викул Тимофеич, поворачивайся, — говорила она, посмеиваясь: — доктор приказал — делать нечего...

— Чаво? — проговорил солдат, нахмуря брови.

— Да вот, давай скорее, пока не простыл...

— Чаво? Проваливай дальше, пока шлык цел, — проговорил опять грозно солдат, шевельнув усом и кивнув головой в сторону:— поди угощай его самого этим варевом-то, если ему требуется... а до меня еще руки не доросли; у меня вон что, — вишь? Хрест егорьевский... Я под турку да под сардинок ходил, полгода в плену у француза выжил, да и там экого позору не видывал... Проваливай, тетка, проваливай!..

Делать было нечего: не только Прохоровна, я и сам провалил бы дальше, потому что ветеран, недавно еще возвратившийся из похода, решился, повидимому, защищать честь свою серьезно...

О так называемых скорбных листах в больнице у Ватрушкиных даже и предания не сохранилось. *Выписки* тоже не существовало, а делалось это таким образом: надоедало больному лежать на койке — он брал свою шапку, прощался с товарищами и преспокойно отправлялся на фабрику, нисколько не заботясь, согласен ли будет на это доктор, или нет. Жаловаться было некому. Но это бы еще всё ничего: очень часто, пришедши в больницу, доктор не досчитывался вдруг нескольких человек больных, и больных иногда очень серьезных, и на вопрос — где они? получал ответ: должно-быть, дескать, в трактир ушли!.. При посещении инспектора управы, разумеется, все это принимало более приличный вид, но если бы ему случилось когда напасть на эту больницу врасплох, так ему бы представилось, что он посредством какого-то чуда попал в лечебницу, которую, говорят, открыл недавно сулукский император в своей столице.

Я не могу и теперь еще забыть впечатления, которое она произвела на меня в первый мой приезд на фабрику. В этот день в сумерки вышел я прогуляться. Надобно было пройти мимо больницы. Вдруг я услышал где-то музыку и дружный топот камаринского, который так и разносился по воздуху.

Со мной встретился младший Ватрушкин, который в это время тоже приехал на фабрику.

— Скажите, пожалуйста, Никита Самсоныч, где это музыка? — спросил я у него.

— В больнице должно быть, — отвечал он таким тоном, как будто дело шло вовсе не

о больнице, а о трактире: — праздничный день нынче, так верно посетителей много набралось.

— Как? Неужели у вас такие вещи допускаются? — вскрикнул я, удивившись.

— Что делать? Нам иначе нельзя-с, — возразил Никита Самсоныч, пожав плечами: — если мы будем стеснять людей больничными положениями, так они не только в больницу не будут ложиться, — половина из них, пожалуй, и с фабрики-то совсем разбежится. А наше дело такое-с: мы всячески стараемся привязать народ к заведению... потому народ для нас нужнее всего... Нельзя-с... застращаешь... А главное: еще покойник тятенька завел здесь эдакий порядок, так уж нам его изменять не приходится...

— Но помилуйте, Никита Самсоныч, тут дело идет о жизни человеческой... рассудите, пожалуйста... ведь это что-нибудь значит.

— Это так точно-с... — перебил меня с улыбкой Ватрушкин: — но ведь нельзя же, чтоб и хозяйский интерес страдал от этого... Лишний человек умрет — это еще не беда-с... а как вдруг полсотни человек уйдет с фабрики, так ведь это знаете... капитал... сто рук-с... Покойник тятенька всегда так говаривал.

— Философ, должно-быть, большой был, — заметил я, едва скрывая свое негодование.

— Кто? Тятенька-с? По коммерческому делу другого человека во всей губернии не было... уж это мы можем прямо сказать, — отвечал с гордостью Ватрушкин.

— А музыка-то как отлично наигрывает...— сказал я, затрудняясь продолжать этот странный разговор.

— Да-с, бойко! — отвечал Ватрушкин, расхохотался, пожал мне руку и отправился на фабрику.

Надеюсь, вы согласитесь теперь, читатель, что я нисколько не преувеличивал дела, назвав ватрушкинскую больницу одним из увеселительных заведений? Но все-таки ведь это была больница, и, следовательно, не всегда ж в ней разыгрывались только комедии: разыгрывались часто и драмы, глубоко потрясавшие душу, и притом драмы, которые исключительно могут иметь место только в фабричных больницах. Одной из таких драм я и намерен теперь заключить мой очерк.

Это было тоже в один из первых моих визитов на фабрику. Однажды, кончивши свое дело в больнице, я приказал-было уже закладывать лошадей, чтоб обратно отправиться в город, как вдруг вбежал ко мне, запыхавшись, солдат, сторож больничный.

— Опять поскорее в больницу пожалуйте, ваше благородие, — сказал он: — человек в машину попал!

— Как?

— Рукой, ваше благородие... и так то-есть уж... совсем плохое дело... резать должно-быть надобно...

Я побежал в больницу

Фабричный, попавший в машину, сидел на койке, опустив голову, бледный, как полотно. Прохоровна промывала ему над тазом руку, которая почти до плеча была раздроблена, изорвана и как будто изжевана острыми зубьями машины. Фельдшер Николай Васильич раскладывал на столе хирургические инструменты. В палате теснилась толпа фабричных,

которые уж постоянно стекались на такие спектакли. Мне сказали, что новый мой пациент был сын небогатого мужичка из соседней деревни и на фабрике не жил, а только приходил туда в назначенное время работать. Это был малый лет девятнадцати, сильный, рослый и чрезвычайно красивый. Звали его Яковом. Рука у него никуда не годилась, и, при всем моем желании спасти ее, я решительно не мог ничего сделать. Надобно было немедленно приступить к операции. Раны фабричные всегда бывают такого сорта, что медлить с ними нельзя. Яков и сам это очень хорошо видел. Николай Васильич еще до моего прихода объявил ему об этом без церемонии, но он не хныкал и не предавался отчаянию; в нем скорее было заметно какое-то ожесточение, или, лучше сказать, какое-то тупое равнодушие к своему несчастному положению.

— Ну, что ж, мой голубчик, рука-то ведь уж не твоя...— сказал я ему, скрепя сердце.

— Вижу, господин дохтур.

— Отрезать придется...

— Что ж, режьте, коль надо... уж верно, своей судьбы не минуешь,— отвечал Яков, слегка содрогнувшись.

Николай Васильич между тем стоял и потрогивал пальцами лезвие ампутационного ножа. Он всегда необыкновенно гордился своим званием.

— Эх-ма...— заговорили в толпе.

— Ох, малый...

— Работка каторжная...

— Машинки, голубушки!..

— Вот горя-то будет, как узнают отец с матерью...

— Не чают они этого, сердечные...

К счастью, Николай Васильич был на этот раз в здравом рассудке, и через четверть часа бедный Яков лежал уже на койке, перевязанный по всем правилам хирургии. Прохоровна обтирала ему полотенцем пот с лица. Что он думал в эту минуту — бог его знает.

Я вышел расстроенный до крайности.

— Эх, парня-то уж больно жалко, господин дохтур, — проговорил позади меня голос.

Я оглянулся: за мной по коридору шел один из фабричных, которого я немножко знал.

— Да, брат, жалко, — отвечал я.

— Один ведь сын у отца... — продолжал мой спутник: — да уж малый-то больно хорош был... способный, непьющий... супротив его, кажется, таперь на всей фабрике не отыщешь... Ох, машинки, машинки! Чтоб их...

— И часто у вас это случается?

— Часто, господин дохтур... оченно часто... То в машину вот эдаким родом втянет, то паром обожжет, то... Эх, да что уж... и говорить-то не хочется... Летошний год у нас так-то четверых вдруг зашибло — так, до смерти... Одному так совсем череп с головы и сорвало... Часто, господин дохтур... — прибавил рассказчик, махнув рукой. — А пальцев таперича, кажется, если их мерить, так полчетверика в год намеряешь — ей-богу право.

— Да отчего ж это, скажи пожалуйста? — спросил я с любопытством. — На других фабриках, где мне случалось быть, я не слыхал, чтоб так жаловались.

— А бог знает отчего так... оттого, что может там порядки другие и машины может тоже другого устройства; а у нас ведь тут работа ночная, а работают больше ребята всё малые — во какие! ну, уж вестимо дело, ночью ребенку дремлется — вот он как шальной в машину суется... машины же у нас наставлены одна от другой часто — теснота: все хочется, чтоб побольше поставить — выгоду свою, значит, хозяин соблюдает; так как ты хошь таперича остерегайся — ничего не поделаешь...

В это время мы стали спускаться с крыльца. На одной из ступенек сидела какая-то девушка. Время стояло чрезвычайно холодное, но на ней кроме бумажного платка на шее и ситцевого сарафана ничего не было.

Она сидела, низко наклонившись и обхватив обеими руками голову.

Мы прошли было мимо. Как вдруг она подняла ко мне свое лицо, которое было чрезвычайно бледно, и спросила с каким-то пугливым любопытством:

— Что, господин дохтур, отрезали?..

Я молча кивнул головой. Девушка взмахнула руками, уронила их на колена и еще ниже опустила голову...

— Что делать, Марфуша, — сказал с участием фабричный: — видно уж твоя доля такая... Все мы под богом ходим...

Девушка не шевельнулась и не отвечала ни слова.

Мы пошли вместе с фабричным.

— Невеста ведь это парня-то, которому вы руку-то резали, — сказал он, когда мы отошли от нее на несколько шагов: — на той

неделе надобно бы свадьбу играть, а тут вот какой случай... Эх, фабричка, фабричка! — прибавил он, махнув рукой: — нужда наша только, а то бы за десять верст мимо ее объехал...

Много случалось мне видеть больничных катастроф, но никогда не выносил я из больницы такого тяжелого впечатления. Странным казался мне этот случай. Не должно бы, казалось мне, и быть этого с людьми... Как же? час еще только тому назад человек был полон жизни, здоровья, надежд, счастья— и вдруг человек этот урод и калека на всю жизнь, ни за грош ни за денежку... А Марфуша эта?.. Положим, что она была простая, грубая крестьянская девушка, — да ведь бог знает, что у нее там в душе-то было... Кто к ней туда заглядывал?

Но этим еще история не кончилась. Так как Якова надобно было наблюсти первое время после этой операции, то я решился пробыть на фабрике до вечера. Часа через два я пошел его проведать; но на дороге встретил меня какой-то мужичок с бабой, и с словами: „батюшка, кормилец ты наш!" — повалились оба мне в ноги.

Оказалось, что это были отец и мать Якова и шли ко мне на квартиру.

— Что вам нужно, друзья мои? — спросил я у них, когда они опять поднялись на ноги.

— Да вот, родимый, давя ты руку сыну отрезал, так мы насчет эвтова к вашей милости... — заговорил мужичок, между тем как баба стояла, подперши щеку ладонью и крепко сжимая свои красные, припухшие веки.

Я принялся-было толковать им, что это была крайняя необходимость и что, если б я этого не сделал, то сын их умер бы в самое короткое время.

— Так-то так, родимый, — перебил меня мужичок, почесывая затылок, — да как же ему таперь без руки-то быть?.. Что уж он за хресьянин таперь без нее... Рука для хресьянина первое дело, родимый... Что он таперь?.. Ни работать, ни богу помолиться, ни царю послужить — ни к чему он не угоден — вековечный калека...

— Жаль, от души жаль. Да об чем же ты теперь хлопочешь-то, любезный? — спросил я у него.

— Да как же не хлопотать-те, родимый? Ведь чай он сын наш — не чужой человек... Вот, мол, выпоили-выкормили парня — слава тебе, господи! Будет, мол, и нам кормильцем на старости лет... вот таперь... что ты будешь делать?..

Баба схватилась за нос и еще крепче сжала глаза.

Я сказал им еще несколько слов в утешение и хотел-было идти своей дорогой, но мужичок, заметив это, опять повалился мне в ноги. Баба от него не отставала.

— Что ж ты, голубчик, от меня хочешь? — спросил я у него.

— Да вот, батюшка, яви такую божескую милость... что ж нам таперь с парнем-то делать? — кричал мужик самым отчаянным образом.

— Да, уж с парнем твоим, любезный, теперь делать нечего; новую руку ему уж нельзя приставить, — сам ты рассуди.

— Ах ты, господи! Так неужто ж он так без руки и останется?

— Я думаю. Ну, прощай, голубчик.

— Постой, родимый! Ты нам вот хоть што...

— Ну что еще, старичок?

— Ты хошь руку-то его отдай нам. Отрезал — так хошь руку-то отдай!..

— На что ж руку-то тебе?

— Да как же, батюшка, ведь она чай наша кровная — от сына отрезана... Неужто ей так тут и оставаться без всякого призрения?.. Мы хошь будем на нее смотреть да казниться, что вот, мол, сына на такую фабрику отдали...

Чтобы прекратить поскорее эту тяжелую сцену, я обещал немедленно исполнить их желание и ушел в больницу.

Через два часа после этого я уже ехал домой с фабрики. На дороге я обогнал отца и мать Якова, которые тоже возвращались в свою деревню. И старик и старуха плакали, громко о чем-то толкуя. Я заметил, что старик бережно нес в руках что-то завернутое в холстину. Вероятно, это была изуродованная рука несчастного Якова.

---

## Очерк III.

### Дуняша. — Предание о Сидоре Астапыче и амбар с залежавшимся товаром.

Фабричный, провожавший меня из больницы после операции, говорил правду: подобные оказии на фабрике Ватрушкиных в рабочие дни случались нередко. Зато в праздничное время, когда паровики не свистали и машины стояли без движения, фабрика представляла истинно умилительное зрелище, особливо если еще погода тому благоприятствовала. В таком случае на большой площади, перед лицом двух уже известных читателю увеселительных заведений, то-есть трактира и овощной лавочки, устраивалось каждый раз нечто вроде гулянья. Фабричные парни, бабы и девки, разряженные как птицы заморские, а которые пококетливее, так пожалуй раздушенные *финдер-бальзанчиком* и мятными каплями, стекались туда со всей фабрики, и тут заводились у них песни, пляски, хороводы, раздавались гармонии и балалайки, и народ кутил себе и веселился весь день и часто всю ночь до раннего утра.

Нечего и рассказывать, что трактир играл в этом деле главную роль. Много вина и

водки выпивалось в нем и в простые дни, а тут уж и говорить нечего. У Сидора Астапыча ушки на макушке были от радости. Лавочнику Никанору Петровичу тоже не на что было пожаловаться: у этого, в свою очередь, был такой сенокос, что́ на твоих дешевых товарах в Москве. Платочков, супирчиков, сережек и других галантерейных вещей раскупалось у него видимо-невидимо; а пряников, орехов, изюму и прочего поедалось столько, что, кажется, и цифры такой не приищешь ни в одной арифметике, потому что натура у русского человека широкая: не зайти в трактир во время гулянья такой человек уж ни за что в свете не может; ну, а уж если он туда попадет, да пораскуражится, да потом распалит, так сказать, свои чувствия, походивши обнявшись с какой-нибудь Устюшкой или Марфушкой, так уж конечно — деньги для такого человека — плевое дело: последняя копейка ребром пойдет. „Марфа! — скажет такой человек, хлопнув Марфушку по спине ладонью: — Марфа!.. ты... я... эх чорт твою душу... Ну, хошь в лавочке супирчик куплю?“.

Но вы не думайте, чтоб на этом гулянье встречались вам одни только шлыки, армяки, ситцевые рубахи да сарафаны — ничуть: там появлялись в свою очередь и шляпки, и зонтики, и даже пальмерстоны, — все, что хотите, потому что на фабрике всякого народу было довольно; одним словом, гулянье устраивалось такое, хоть бы в нашем уездном городке, так в пору. Даже англичане, которые в рабочее время бегали по фабрике в каких-то парусинных кофточках, испачканные и измазанные как трубочисты, в такие дни преображались

некоторым образом в джентльменов и оживляли собою общую картину праздника. Но это, впрочем, не всегда случалось: в праздничное время англичане собирались большею частью в интимный кружок у кого-нибудь из товарищей и проводили время за бутылкой джина, сидя в шляпах вокруг стола, молча куря сигары, раскачиваясь взад и вперед в своих креслах, так нарочно и устроенных, чтоб можно было раскачиваться, и изредка только оживляя свою британскую флегму лаконическими: „иес!“, „дринк!“ и другими более или менее удобными восклицаниями. Ну, просто, я вам говорю, истинно умилительное зрелище представляла в эти дни фабрика. Даже сам Сидор Астапыч делался как будто другим человеком и казался полнее и миловиднее.

В один из таких дней, в августе месяце, часов в шесть вечера, к фабрике подходила какая-то деревенская баба — старушка, в лаптях, с палочкой и с холстинным мешком за спиной, перехваченным в нескольких местах широкой черной покромкой. Судя по ее вспотевшему, раскрасневшемуся лицу и усталой, увалистой походке, можно было видеть, что она плелась на фабрику откуда-то издалека.

— Тебе кого, тетушка? — спросил ее сторож, отставной солдат, когда она подошла к фабричным воротам.

— Да вот доцку пришла проведать, родимый, — опершись на палку, отвечала старушка: — доцка у меня тут отдана в моталку — Дуняшей зовут — так к ней. Вместе с теткой она тут и живет. Да вот уж с самого светлого праздника не видала: жива ли, нет ли,

господь ее знает... Тут вишь, говорят, всё машинами народ-то уродует?..

— Ничаво, бог даст, живую найдешь, — перебил сторож: — а ты сама-то откуда?

— Издалека, родимый, верст двадцать — больше отсель будет. Село Пьянково — чай слышал когда?

— Слыхал.

— Так вот оттуда... Далеко, касатик! С раннего утречка поднялась, шла всё — во как умаялась!

— А мешок-то у тебя с чем? — продолжал допрашивать солдат, ощупывая узел за спиною старухи: — не несешь ли вина, смотри? Здесь на этот счет строго.

— Вина-а! Что ты, касатик, да его я сродясь и не пивала, вина-то этого; не ведаю, что оно и за вино такое на свете есть, — возразила, усмехнувшись, старушка.

— Сама не пьешь, так может для того, чтоб дочку попотчивать?

— Доцку-у? Господь с тобой, родимый! Да доцка-то моя еще малый ребенок почесь: вот после летнего Миколы всего только пятнадцатый годок минул; она чай не смыслит еще, как и рюмку-то люди в руках держат... Сохрани господи!..

— Проходи, проходи... А то у нас строго на это. Астапыч, дилехтур, узнает — беда! — перебил сторож, пропуская старуху.

Старушка толкнулась сначала в кухню, где жила ее дочка, но, узнавши, что та на гуляньи, отправилась прямо туда.

День был необыкновенно хорош; народу на гуляньи была тьма тьмущая, поэтому отыскать дочку не скоро можно было старухе.

Долго толкалась она по площади, выглядывая ее в толпе, но никак не могла встретить; протеснилась наконец всеми неправдами к хороводу — тут посмотрела, — и тут ее не было.

— Что ты, тетушка, аль ищешь кого? — спросил у нее какой-то фабричный, заметивши, что старуха высматривает всё кого-то из-под руки.

— Да вот, касатик, доцку свою ищу, да не вижу нешто: знать нет ее тут? — отвечала старуха.

— А кто такая дочка-то твоя?

— В моталках живет, касатик, Авдотьей зовут, Кузьминишной по очеству-то, чай знаешь?

— Пьянковская что ль?

— Во-во, касатик, она... пьянковская...

— А-а... так ты вон поди посмотри: она должно-быть в трактире сидит... Я словно как ее сейчас там видел...— сказал фабричный и, нисколько не подозревая, как слова его озадачили старуху, скрылся в толпе.

— Господи Иисусе Христе! нись я ослышалась, нись он с пьяных глаз это сморозил... Уж будто вишь моя Дуняшка будет в трактире сидеть...— проговорила, перекрестившись, старуха. Однакож подумала, посовалась еще в разные стороны и побрела к трактиру.

Трактир, по обыкновению, битком был набит народом. Старуха вошла, высматривая из-под руки свою дочку.

За одним из столов, расставленных друг возле друга по стенам обширной комнаты, сидели два молодых парня и угощали сладкой водкой двух фабричных девушек, из которых одна успела уже сильно напиться, а другая,

белокуренькая, небольшого роста и еще очень молоденькая, только-что разрумянилась больше обыкновенного.

Читатель верно уж догадался, что это была та самая Дуняша, о которой я рассказываю и которую отыскивала старуха.

Один из парней сидел, обхвативши ее рукой. Дуняша сидела возле него задумавшись. Вдруг глаза ее встретились с матерью. Дуняша быстро выскочила из-за стола.

— Господи! Матушка здесь! — прошептала она с испуганным видом и, закрывшись фартуком, выбежала из трактира в задние двери.

Через пять минут она сидела уже у себя в кухне и, как ни в чем не бывало, смотрела в окно на гуляющих, утешая себя надеждою, что, может-быть, мать в трактире ее и не заметила.

Но старуха к несчастью все видела и вошла в кухню почти следом за дочерью.

— А-а, ты уж здесь? Востра, нечего сказать, — проговорила она, холодно с ней поздоровавшись.

Дуняша помертвела, потому что шибко боялась матери.

— Ты что ж это такое выдумала, страмница ты эдакая, — продолжала сердито старуха: — по трактирам-то шляться с ребятами, а? Нешто мы с отцом-то для этого сюда тебя отдали? Чего тетка-то за тобой смотрит? Где она? А еще божилась не без чего, бессовестная: присмотрю, мол, за девкой, с глаз не спущу... Спасибо, хорошо присмотрела... Видно, не свое — чужое детище...

Дуняша стояла перед матерью, потупившись, и щипала свой ситцевый фартук.

— Нешто мы этому дома-то тебя учили, а? распутничать нешто мы учили тебя, бесстыжая ты эдакая! — продолжала старуха. — Да узнает отец, приедет из Питера — он те, кажись, душу-то всю из тела выколотит... А? Что молчишь — нюни-то распустила? Как ты спозналась с ним, сказывай!

— На одной кухне жили, — прошептала Дуняша, всхлипывая.

— Платок-ат он что ли тебе подарил?

— Он...

— Ах ты, подлая, подлая... ах ты, страмница эдакая... — горько покачивая головой, продолжала старуха. — Отцы вы мои милостивые! — вдруг вскрикнула она, сжавши веки и с отчаянием всплеснув руками: — да никак уж ты?.. Угодник ты мой, Миколай чудотворец! Да что ж такое это ты с собой наделала?

Вместо ответа, Дуняша повалилась матери в ноги. Старуха между тем охала, выла и причитала отчаянным голосом:

— Святые вы мои угодники! Да кабы знамо-то было да ведано, так легче бы, кажется, я ее руками своими живую в землю зарыла, нежели в омут-то этот дьявольский, в содом-то этот окаянный ее пихнуть, прости господи... И на то ли ее вспоили, вскормили, выростили, чтоб срам такой принять от нее на старости лет?.. И как мы таперь будем из-за нее добрым людям в глаза смотреть? Вот, скажут, какое сокровище выростили... Да у нас и старики-то на всем селе экого сраму не запомнят...

Дуняша между тем валялась у нее в ногах, рыдая и судорожно хватаясь за полы ее холодая.

— И не кланяйся лучше, пропащая твоя душа, и не проси — не помилую, — ожесточаясь все более и более, продолжала старуха. — Ступай таперь куда хошь от меня, на все четыре стороны ступай, а на свое село и глаз не смей показывать... И не страми... задушу своими руками... И не дочь ты моя таперь... И нет над тобой маво родительского благословения, навеки нерушима...

Тут старуха привязала опять за спину свой узел, который перед тем сняла и положила на лавку, взяла свою палку и ушла, не простясь с дочерью.

В кухне никого не было, выключая двух фабричных баб, которые, упившись в трактире дозела, стонали, мычали и храпели, растянувшись на нарах. Дуняша присела на лавку и долго сидела в одном положении, грустно опустив руки и голову. Вдруг она вскочила и побежала за матерью.

Начинало уже смеркаться. Старуха торопливо шла домой, потряхивая по временам головой и вытирая глаза ладонью. Дуняша нагнала ее уж на четвертой версте от фабрики.

— Матушка!.. родная ты моя!.. на кого ж это ты меня покинула-то? — умоляла она ее, идя сзади и отчаянно хватаясь за нее руками.

Старуха шла молча, не оборачиваясь.

— Матушка... обманул он меня... видит бог, обманул... вином напоил... и не помню как... — говорила, рыдая, Дуняша. И долго шла она таким образом за матерью, плача и моля о прощении.

— Ступай от меня! — проговорила наконец старуха.

— Матушка... знать уж место такое здесь... ведь не одна же я, горькая... много здесь таких... родимая, — умоляла опять Дуняша.

Старуха остановилась.

— Поди, говорят тебе!.. не прощу... не приму позору... не дочь ты мне! — опять проговорила она таким голосом, что девушка затряслась и остановилась на дороге, как каменная.

Старуха шла между тем, не оглядываясь. Долго странными глазами глядела ей вслед Дуняша; наконец она заломила изо всех сил руки, вскрикнула и повалилась ничком на мокрую траву недалеко от лесочка, мимо которого они проходили.

В этот самый день мне тоже случилось приехать на фабрику. Я никогда еще не видал фабричного гулянья и, навестивши больницу, пошел посмотреть, что такое там делается.

Потолкавшись по площади и поглазевши на хороводы, я отошел к сторонке и присел на бревна, сложенные в одно место для какой-то постройки. Недалеко от меня сидели два мужика и вели между собой одушевленную беседу. Один из них, сколько можно было понять из разговора, был здешний фабричный, а другой приехал к нему из деревни.

В это время на гуляньи показалась длинная и сухая фигура Сидора Астапыча, который, вероятно, пробирался в лавку, чтоб осведомиться, каково шла торговля у Никанора Петровича.

— Вон он, антихрист-то здешний ходит, чтоб ему ни дна ни покрышки, — сказал фабричный, указав на него своему товарищу: —

вишь, точно цапля по болоту шагает... вишь, вишь, эх, чер...

— А энто кто он такой?

— Астапыч, дилехтур здешний, — отвечал с каким-то омерзением фабричный.

— Да что ж он у вас... значит, такой человек уж?..

— Хе, ведь я ж те сказываю, что антихрист... Кажись, таких бесчувственных людей — весь свет исходи, так не сыщешь — верно! Кутит да мутит, да штрафы каждый день — поедом всю фабрику съел, ей-богу право. Да уж хошь бы дело-то фабричное смыслил, так бы и быть, а то только что подрыв хозяевам делает, ничего больше.

— Путает, значит?

Фабричный только рукой махнул.

— Да как же, братец ты мой, опосля всего эвтого такого человека в дилекторы произвели? — спросил его товарищ.

— Как произвели? Линия уж, значит, ему такая вышла; в церкви вишь, говорят, вымолил у старого хозяина.

— На характер, значит, попал. Да как же это он так в церкви вымолил?

— А вот вишь как: фабрику-то эвту ведь еще старый хозяин заводил, покойник уж, значит, Самсон Карпыч, отец сиречь таперешних-то — понял?

— Так.

— Ну вот, как завел он эвту фабрику... А человек он был, братец ты мой, вот какой: к заутрене это таперича, к обедне, ко всенощной — уж это беспременно, хошь бы тут что — богу молился, значит. Ну, хорошо: завел он эту фабрику и думает: как бы мне,

думает, такого способного человека в дилехтуры избрать, чтобы он, тоись, и слуга мне был и к храму божию наподобие мне был привержен... А Астапыч в ту пору так — в худеньком сюртучишке бегал, на скрипке все учился играть, в сидельцах, вишь, али в приказчиках у купца жил. А купец-то эвтот в сродстве находился с Самсоном-то Карпычем, понял? Вот, братец ты мой, однова и призывает он к себе эвтого самого Сидора Астапыча. Слушай, говорит, Сидорка, так и так, говорит, ты мне вот столько-то лет верой и правдой служил, барыши с покупателей брал большие, и художества я за тобой никакого не знаю — хошь я тебя за это к Самсону Карпычу на фабрику в дилехтуры произведу? — Отчего ж, мол, хозяин, — это Астапыч-то ему, — на эвтом, мол, благодарим покорно, а я, значит, дилехтуром быть способен, потому грамоте я теперича разумею, торговлю как есть всю произошел, притом же и разную механику на скрипке выделываю, стало фабричное дело мне нипочем... — Ну, хорошо, говорит, Сидорка, слушай же, что я тебе сказывать буду: приход такой-то ты знаешь? — Знаю, мол, как не знать. — Ну, так вот в эвтом самом приходе Самсон Карпыч церковным старостой состоит и завсегда уж собственноручно при ящике со свечами тут и находится. Так ходи ты, говорит, в эвтот самый приход кажинный божий день к заутрене, к часам и вечерне, — потому дело-то это было об великом посте, — и становись, говорит, ты завсегда так, чтоб ты у Самсона Карпыча бесперечь на глазах находился, и молись, говорит, тоже бесперечь, и больше

всё в землю, а уж я опосля знаю, что делать.— Хорошо: вот и стал эта Астапыч кажинный день в эвтот приход ходить и зачал он молиться, как самый тоись праведный и благочестивый человек, и позицию, братец ты мой, выбрал такую, что как тоись Самсон Карпыч на него ни взглянет — всё он у него как бельмо на глазу торчит. И молился он таким родом сорок дней, и всё в землю да на коленях — инда Самсон Карпыч диву дался. Что это, думает он про себя, за человек такой молится? Вот кабы такого человека мне на фабрику к себе в дилектуры приспособить. Хорошо: таким родом прошел пост и напоследок наступила этта, братец ты мой, святая неделя, и приезжает эвтот самый купец, хозяин-ат, значит, Астапыча, приезжает он этта Самсона Карпыча с праздником проздравлять. Тот у него и спрашивает: скажи, говорит, называет его по имени, не знаешь ли, что это за человек такой ко мне в приход ходит? Сродясь, говорит, не видывал, чтобы кто так усердно богу молился. — А это вот, говорит, какой человек, это тоись хозяин-то Астапыча: служил, говорит, он мне вот столько-то лет верою и правдою, книжное дело лучше меня разумеет и торговлю всю как есть до тонкости произошел. Умолчал, примерно, только об том, что на скрыпке играет, потому всякое такое дело — танцию там примерно и музыку всякую — Самсон Карпыч считал, что это тоись от дьявола происходит. Выслушал он это: вот, говорит, кабы такого человека в дилектуры ко мне на фабрику. Только одно, говорит, вводит меня в сумление, что уж больно тонок он да жимолостен — фабричные,

дескать, бояться не станут. А это, мол, оттого он так только и жимолостен, что уж больно строго всякие постные дни соблюдает, а по средам и по пятницам и вовсе ничего не ест, — это хозяин-то Астапыча его урезонивает, — а что фабричные будут его бояться, так я, говорит, за эвто дело собственной головой ручаюсь. — А когда так, говорит, так быть же ему у меня дилехтуром! Вот таким-то родом он с тех пор дилехтуром и сделался. Фарисейством, стало, достиг, — заключил рассказчик.

В это время Сидор Астапыч опять показался на площади.

— Да отчего и в заправду он испитой такой да длинноногий? Ишь ты, словно скворечня какая торчит, — заметил, указав на него, мужичок.

— С роду уж, значит, такой, — отвечал фабричный: — тут у нас на фабрике женщина старуха из их дома живет, так она сказывала, что он вишь и родился-то почесь совсем мертвенький. Целый день оттирали его да откачивали, — насилу вишь в жизнь привели,— и то уж, говорит, какой-то добрый человек посоветовал вишь теплым навозом его обложить... а кабы теплым навозом не обложили, так и схоронили бы, не окрестивши.

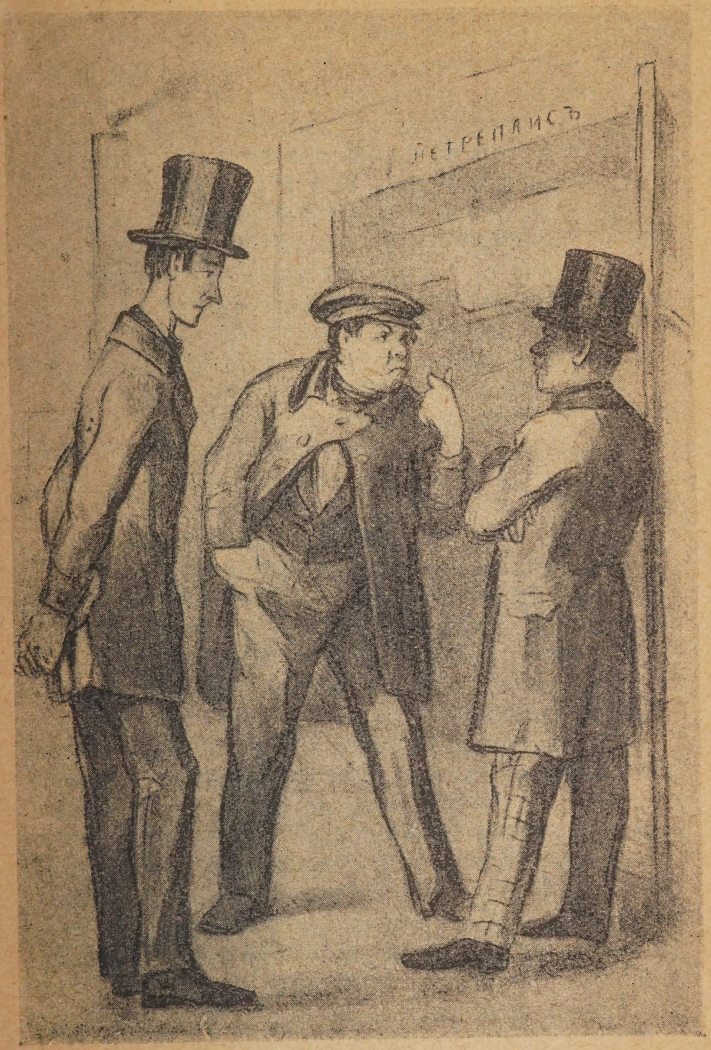
— Да, так вот он злющий-то отчего...

— От эвтого от самого.

— Стало у вас фабрика-то плохо идет?

— Она ничаво — идет. Да нешто бы она при другом дилехтуре так-то шла? По-за четвертый год он им наткал товару, хозяевам-то, так ведь какой они убыток-то понесли, страсть!

— Ой ли?


ДЕТЕКТИВЪ

— Верно! Они его допрежь всё каким-то азиятам сбывали. Ну, и этот сбыли. Те опосля того: нет, говорит, господа, нам такого товару не надо, шалишь! Мы, мол, торговое-то дело не хуже вас произошли. Тем и порешили. А товару-то было заготовлено немало. Весь таперь и лежит вон в амбаре, — вон каменное строение прямо-то — вишь? Весь так снизу доверху битком и набит эвтим товаром. Ничего с ним таперь и не поделают, потому — никто не покупает, — брак.

— А товар-ат какой?

— Материя такая, *нетреплис* прозывается.

— Как ты сказал?

— *Нетреплис.*

— Ишь ты, какая мудреная! А бусурманы-то, знать, как стали носить, так она и растрепалась?

— Должно полагать, что растрепалась!

Фабричный и товарищ его захохотали.

— Пойдем-ка-сь, кум, — сказал фабричный, вставая и показав глазами на заведение: — нешто побаловать захотелось.

Кум тоже поднялся, и оба они направились к заведению.

На другой день, управившись в больнице, я проходил по фабрике к квартире Сидора Астапыча. Амбар, про который рассказывал накануне фабричный, растворен был настежь. Возле него стояли в кучке младший Ватрушкин, Астапыч и становой, который, по просьбе Астапыча, еще утром приехал на фабрику производить над кем-то экзекуцию, что́ там случалось очень нередко. Я тоже подошел из любопытства.

Амбар действительно снизу доверху был набит тюками с *нетреплисом.*

— Вот-с, не знаем, что делать с товаром-с,— обратился ко мне Ватрушкин:—тысяч на шестьдесят его тут; с рук нейдет.

— Спустите как-нибудь.

— Да, спустите... и рад бы в рай, да грехи не пускают: не покупает никто-с.

— А сбыть как-нибудь надо, — проговорил значительно Астапыч.

Становой стоял и смотрел на них насмешливо.

— Сбыть...—передразнил он Астапыча:— куда вам, войлокам, без меня это сделать! Коль я не научу, что́ делать, так весь и сгниет тут, либо крысы съедят.

— Ну-ка, ну, что такое? — перебил Ватрушкин: — послушаем.

— Да что ж, не научу, что ли?

— Посмотрим, посмотрим.

— Пятнадцать процентов с рубля?

— Жирно больно, — богат будешь. Три!

— Три!.. стану я, прости господи, из... руки марать.

— Твое дело.

— Да что ж вы думаете, в самом деле, что я шучу, что ли? — перебил, покраснев, становой. — Ступай сюда! Секрет, — шепнул он мне на ухо и отвел Ватрушкина и Астапыча в сторону.

Что такое он им рассказывал, я слышать не мог, но по всему видно было, что мысль его тому и другому крепко понравилась.

— Ну, понимаешь ли теперь, в чем штука? — вскрикнул наконец становой.

— Теперь понимаю, — отвечал, улыбаясь, Ватрушкин.

— Верно ли?

— Верно!

— Стало быть пятнадцать процентов мои?

— Двадцать!—радостно вскрикнул Ватрушкин, схватив руку станового и хлопнув по ней ладонью. — Ходит!

— То-то же и есть, дураки вы эдакие,— проговорил презрительно становой: — а еще купцы называются... Где вам без меня это дело сделать! Только смотри, Никита Самсоныч, — прибавил он серьезным тоном: — нигугу никому... а то ведь за это нас с тобой, пожалуй, тово... понимаешь?..

Но какого рода торговую операцию предположено было сделать на этом знаменитом совете с залежавшимся в амбаре нетреплисом, читатель узнает из следующего очерка. Теперь же я скажу покуда только то, что это была одна из любопытнейших и гениальнейших торговых операций, какие когда-либо существовали в коммерческом мире.

---

## Очерк IV.

**Коммерческая операция. — Толки о вавилонском принце. — Стычка Астапыча с бабами.**

Надобно вам сказать, что в это время на фабрику ожидали губернатора, о чем я не раз слышал и от самого Ватрушкина; как вдруг, с того же самого дня, между фабричными пронесся слух, что губернатор приедет не один, а вместе с каким-то иностранным принцем, которому будто бы давно уже хотелось осмотреть фабрику Ватрушкиных, как образцовую, с тем, чтобы со временем выстроить точно такую же и в своей земле.

Откуда взялся этот иностранный принц и каким образом такое наивное желание могло залезть ему в голову, таких мудреных вопросов на фабрике решать, разумеется, было некому, и все безусловно тому поверили, тем более, что в нашем губернском городе N . . . готовилось в это время какое-то торжество; по случаю которого должны были съехаться туда некоторые официальные лица из Петербурга, в число которых мог, пожалуй, попасть и какой-нибудь иностранный принц.

Я, с своей стороны, принял это за чистейший пуф и, следовательно, мало интересовался

этими слухами; но тут было одно обстоятельство, которое заставило меня тогда много смеяться и о котором я не могу не рассказать моему читателю. Между проживавшими на фабрике англичанами был один, некто Абрам Абрамыч Гиль, небольшого роста краснощекий толстяк, человек презамечательный. Ватрушкины выписали его из Англии как слесаря, но он в короткое время сделался на фабрике машинистом, не имея об этом деле ни малейшего понятия, заправлял тамошними паровиками лет десять сряду и, по словам фабричной хроники, выпил в продолжение этого времени 7300 бутылок коньяку (по две бутылки на день) и изуродовал пропасть народу, потому что паровики лопались у него беспрестанно. Надобно вам сказать, что когда этот Абрам Абрамыч напивался пьян, то начинал всегда так врать, что уму непостижимо — как Александр Македонский. Тот уверил весь свет, что он сын Юпитера, а этот рассказывал, что он друг и приятель с лордом Пальмерстоном и что сама английская королева знает его лично и беспрестанно осведомляется по телеграфу, хорошо ли ему жить на фабрике Ватрушкиных, — почти то же самое. Когда пронесся слух о приезде иностранного принца, Абрам Абрамыч начал уверять всех пресерьезно, что он знал об этом уже давным-давно, только не хотел болтать прежде времени; что этот иностранный принц тоже его закадычный приятель и несколько раз писал ему о своем приезде. — Его мне трое писем за-раз прислал, — рассказывал Абрам Абрамыч: — мой, говорит, так прямо и приезжает на твой квартир, только чтоб твой

приготовил для меня кароша цыгарка и отличный ногу телятина. — А чтоб подкрепить слова свои фактами, Абрам Абрамыч начал даже приискивать понемножку и теленка для своего высокого друга; но только ему хотелось сыскать теленка никак не дороже двух рублей серебром, поэтому поиски эти и не могли увенчаться надлежащим успехом. Сцены выдавались преуморительные.

Однажды я завтракал у фабричного бухгалтера-немца, как вдруг является Абрам Абрамыч в своей рабочей парусинной кофточке и в ботинках на толстейших подошвах, грязный, по обыкновению, до безобразия.

— Ну что, как твой теленка, здоров? — спросил он, швырнув в сторону картуз и бесцеремонно усаживаясь на диван.

— Ничего, так себе, молочко попивает, — отвечал бухгалтер, коверкая немного русские слова.

— О-о-о... это карашо... теленка должен много молоко кушать, — перебил Абрам Абрамыч: — ну что? продавай его за два целковый для иностранный принцев жарить...

Бухгалтер просил четыре.

— О, какой такой упряма человек есть, — настаивал, горячась, Абрам Абрамыч. — Слушай: шуба и сапоги твои — один говядина мой; двух целковых за одна говядина получил... Шел?

— Нет, не шел.

— Ну, прошшай теперь...

Абрам Абрамыч схватил картуз и ушел, видимо раздосадованный.

Оказалось, что шубой называл он шкуру, а сапогами копыта.

Как бы то ни было, но слухи о приезде иностранного принца подтверждались с каждым днем более и более; наконец на фабрику прискакал как-то однажды старший Ватрушкин в страшных попыхах и объявил официально, что принц действительно будет и не дальше как недели через две или три, в сопровождении губернатора и множества иностранных генералов.

Можете себе представить, какая горячка запоролась после того на фабрике. Везде начали подчищать, подметать и подмазывать, контору оклеили новыми шпалерами, а литографированный портрет тятеньки Ватрушкиных, висевший там до сего времени в черной деревянной рамке, вставили в бронзовую; самая больница, так сказать, просияла и сделалась некоторым образом похожа на настоящую больницу. Этого мало: младший Ватрушкин, как человек, умевший танцовать, следовательно развитой более, нежели старший брат, настаивал из всех сил, чтобы для въезда иностранного принца устроить триумфальные ворота, по бокам которых стояли бы статуи двух русских купцов с протянутыми вперед руками: дескать, просим покорно, пожалуйте! Архитектор, производивший в это время какие-то работы в фабричной церкви, начертил даже и план для этого великолепного здания.

Все это сбило наконец и меня с толку. „Что мудреного,—подумывал я в простоте сердечной:—стало-быть, и в самом деле какой-нибудь принц приедет". И в голову мне тогда не приходило, чтоб вся эта история находилась в самой тесной связи с операцией над *нетреплисом*. Послушайте ж, как наконец

это объяснилось. Как-то бывши на фабрике, проходил я случайно по площади, на которой, как вы знаете, устраивалось гулянье для фабричных. Смотрю: возле овощной лавки собралось народу чуть не половина фабрики. Шум, гвалт, толкотня, кричат: *„Нетреплис! нетреплис!“*. День, между тем, был будничный. Что за чудеса? Что бы это значило? И между тем, как я отыскивал в голове моей причину такого необыкновенного явления, из толпы, с куском нетреплису в руках, выбился мой знакомец Никита, помните, который рассказывал мне, как Астапыч поймал солонину в Проворке?

Я подошел к нему.

— Здорово, Никита!

— Ах, здравствуйте, господин дохтур.

— Что это у вас тут за собрание такое?

— Собрание-то? А вот *нетреплис* раздают фабричным.

— Как *нетреплис?* По какому случаю?

— Да говорят, какой-то, вишь, прынец настранный на фабрику приедет, так велено фабричным нетреплисовые штаны да поддевки шить.

— Всем?

— Да велено-то всем, — ну, кто сошьет.

— Как же это, на хозяйский счет, что ли?

— Эх вы... как можно? Нешто хозяин станет всю фабрику на свой счет обмундировывать? На книжку — известно уж...

Я начал понимать, в чем дело.

— Ну, скажи же ты мне, пожалуйста, — спросил я, изнемогая от любопытства:—принудили вас к этому, или вы это добровольно делаете?

— Не то, чтобы принудили, господин дохтур,—отвечал Никита, с видом какого-то недоумения, разводя руками: — а так... как бы сказать... надо брать поневоле... Микита Самсоныч с Астапычем так всех опутали, что ничего не поделаешь... Разов с пять никак собирали они нас в контору по эвтому делу; упрашивали во как... плакали почесь... Сделайте, мол, милость, ребятушки, выручите: и хозяев, значит, уважьте и себя лицом в грязь не ударьте, а уж мы, говорят, ублаготворим вас опосля как угодно, потому свита приедет большая, так нельзя, чтобы народ в безобразном виде работал. Эфтим, говорят, вы не токма для нас — для всей тоись Расеи и даже для самого губернатора заслугу сделаете... Мы-было стали приставлять, что очинно, мол, дорого, потому на шаровары да на поддевку *нетреплису* пойдет немало, ну так хозяин обещал: я, говорит, для вас по пяти копеек с аршина сбавлю, а деньги чтобы нетрудно было платить, велю разложить на сроки, чтобы вычету приходилось, примерно, всего по полтиннику в месяц. Ну, мы подумали, подумали: полтинник, мол, в месяц дело неважное, — все равно его в трактире пропьешь, а тут, по крайности, хошь хорошая одежа останется... Что ж, мол, делать, братцы, видно надо уважить хозяина... Просили, примерно, чтобы без шаровар, одни тоись поддевки сшить, ну, так Астапыч сказал, что никак нельзя вишь, потому, говорит, кабы это был какой-нибудь шпанский, примерно, а либо тальянский прынец, так оно ничево бы, а то это вишь азиат какой-то, — значит, человек великатный, так уж шаровары,

говорит, для него первое дело... обидится значит.

— Ну, что ж, так и порешили? — спросил я, засмеявшись.

— Ну, нет, опосля порешили так, что кто тоись побольше жалованья получает, так с шароварами, а кто поменьше — так, просто, одну поддевку.

„Ловко, нечего сказать", — подумал я и, простясь с Никитой, вошел из любопытства в лавку к Никанору Петровичу.

И действительно, картина представилась мне преживописная: сам Никанор Петрович и трое молодцов в восемь рук отмеривали для фабричных *нетреплис* с таким старанием, что сюртуки на них взмокли и кости хрустели в суставах. У Никанора Петровича, человека довольно тучного, инда одышка сделалась. Фабричные толкались, кричали и наперебой лезли к прилавку, каждый стараясь прежде другого иметь в руках кусок драгоценной материи. Дело в том, что приобрести *нетреплисовую* поддевку было всегда заветною мечтою для каждого фабричного, и теперь, когда им предложено было добыть себе этот великолепный наряд на таких выгодных условиях, простакам показалось, что им дают его чуть-чуть не даром, и потому охотников оказалось пропасть.

Тут же нашел я Астапыча и младшего Ватрушкина, вероятно пришедших сюда посмотреть, хорошо ли шла операция. Лица их сияли таким светлым восторгом, как будто они стояли в светлый праздник у заутрени.

Однакож я заметил, что покупатели требовали *нетреплису* большею частью на одни

поддевки, но продавцы, совершенно сбитые с толку, отмеривали многим при сей верной оказии и на шаровары. Покупатели спорили, протестовали, однакож, волею или неволею, брали отмеренный кусок и, почесываясь, отходили от прилавка, потому что, прежде нежели покупатель успевал высказать свою претензию, кусок был уже отрезан, записан в книгу и, следовательно, исправлять ошибки было некогда. Когда я вошел, один из фабричных сильно спорил за это с Никанором Петровичем.

— Никанор Петрович! сделай милость!— настаивал фабричный: — не возьму... вот те Христос не возьму! Сказано без шаровар, так уж без шаровар!.. Лучше не режь, не возьму!

— Да что ты с похмелья что ли, шальной эдакий, право шальной, — возражал Никанор Петрович: — то так ему режь, то иначе, ведь уж записано...

— Что хошь пиши, а я лишнего алтына, супротив поддевки, не заплачу — сказано!

Никанор Петрович стоял в нерешимости, прихватив *нетреплис* ножницами.

— Бери, бери, братец, полно ломаться-то,— дружески потрепав фабричного по плечу, вступился Ватрушкин: — ведь ты и в самом деле не один здесь... посмотри, человек без того из сил выбился... А надумаешься, так, может статься, и шаровары сошьешь: по крайней мере человеком будешь — в виду...

— Оно так-то так, Микита Самсоныч, да уж больно обидно будет,—отговаривался фабричный: — ведь за них еще четыре полтинника надо выплачивать...

— Экая важность!.. Ну, уж так и быть, грех пополам,—перебил Ватрушкин:—приходи ко мне ужо, я тебе что-нибудь на чай дам...

— На эфтом, Никита Самсоныч, благодарим покорно вашей милости.. да только...

— Ну полно же, полно! режь ему, Никанор Петрович...

Кончилось тем, что фабричный, задобренный ласками хозяина и особливо милостивым обещанием на чай, взял-таки отрезанный кусок *нетреплису* и, почесываясь, вышел из лавки.

— Что, брат Тарасыч, почесываешься?— встретило его несколько голосов, сопровождаемых дружным хохотом:— знать, и тебе на шаровары всучили?

— Что ты будешь делать? В глотку почесь всунули... — отозвался Тарасыч: — хошь — не хошь, а бери... Ах ты, господи!..

— Да ты мало взял, право мало,—подсмеивались над ним со всех сторон:— ты бы уж кстати и на жилетку велел отрезать; ступай-ка, бери скорей! Зато, как разрядишься, да прынец настранный увидит, в придворные фабриканты к себе возьмет — чудак!

— Вам сполагоря зубы-то скалить,— кричал в свою очередь Тарасыч:— а мне — хошь в петлю полезай, так впору... Тут вон оброк надо взносить барину, да вон — брат вчера из деревни пришел — хлеба, говорит, нету, семья почесь по миру ходит, а ты тут нетреплисовые поддевки шей... Черти эдакие, прости господи!

— Да ты что ж на других-то плачешься!— вступился кто-то из толпы:— нешто тебя за ворот что ли в лавку-то тянули? Ведь не тянули, сам пришел — на себя и пеняй!

— Хитер вишь ты больно,—возразил с досадой Тарасыч: — за ворот!.. Кабы не тянули, так и не пошел бы... Сам-то ты зачем пришел? Тоже ведь не тянули... да пра... за ворот!..

— Так я ж и не плачусь.

— Не плачусь... богат видно!..

— Не богаче тебя.

Уверившись, что операция совершается как следует, Ватрушкин и Астапыч вышли наконец из лавки. Я хотел-было остаться, чтоб еще полюбоваться на продажу *нетреплиса*, но, как за перегородкой, в съестном отделении лавки, стояла кадка с солониной, то привести это в исполнение было крайне неудобно, и я вышел вслед за операторами.

Они шли несколько впереди меня.

— Ась?!.—сказал, подмигнув, Ватрушкин.

— Gut!.. — отвечал, улыбаясь, Астапыч, знавший это немецкое слово. — Не знаю только, — прибавил он, помолчав немного, — как у нас с бабами дело уладится... заартачатся, канальи, того и гляди...

— Как-нибудь уладите, — проговорил Ватрушкин.

Из этих беглых намеков можно было заключить, что задуманная операция одним *нетреплисом* не ограничивалась, но, как всякое гениальное изобретение, повлекла за собою ряд новых открытий. К несчастью, дальнейшего их разговора я слышать не мог. В эту минуту встретился мне один из моих больничных пациентов и отвлек от него мое внимание. Бедняк этот находился в последнем градусе чахотки, едва бродил, и я чрезвычайно удивился, встретив его в толпе, возле лавки.

— Ты зачем сюда, Савелий? — спросил я у него.

— В лавку иду, господин доктор, — отвечал, закашлявшись и насилу отдышавшись, Савелий.

— За чем?

— Да *нетреплис* покупать... поддевку шить надо.

— Тебе-то поддевку? Да ты еле жив... поправься, братец, прежде.

— Что делать, господин доктор, к горлу пристает шельма Астапыч; всю душу вытянул; сегодня сам нарочно в больницу ко мне приходил: все, говорит, поддевки шьют, а тебе, говорит, Савелий, стыдно не сделать, потому ты большое жалованье получаешь. Ну, что ж, думаю, чорт с тобой! Все делают, так и я сделаю; может выздоровлю, так пригодится.

И Савелий, снова закашлявшись, начал тихонько проталкиваться к лавке.

Не умею вам сказать, насколько удалась Ватрушкиным эта операция и сколько именно человек из фабричных купили себе *нетреплису*, но, судя по тому, какое количество тюков было вытащено из амбара, где он хранился, надо предполагать, что его отмерено было в этот день достаточное количество. Да, уж значит, что хорошо было отмерено: вечером, когда я пришел в больницу на вечернюю визитацию, ко мне явились все три приказчика Никанора Петровича разбитые и усталые до такой степени, точно как они целый день пни в лесу вырывали.

— Что вам, братцы? — спросил я у них.

— Сделайте милость, дайте нам мази, али спирту какого-нибудь, господин доктор, руки помазать... — отвечали приказчики.

— А что?

— Да что, смерть... одеревенели совсем, так и ноют... не свои точно... Ведь помилуйте, целый день точно машины работали.

— Вот так торговля!

— Да уж сказать, что торговля! Вот уж десять лет при лавке находимся — никогда и сотой доли этого не было.

— А Никанор Петрович?

— Хозяин? Э-э-э... тот совсем врастяжку лежит... в баню, кажись, собирается...

Обстоятельство это, то-есть продажа *нетреплису*, придало и самому иностранному принцу особенный интерес в глазах фабричных. До сих пор они очень холодно смотрели на приготовления к его приезду, а теперь они создали себе об нем чуть не сказочное понятие, как о человеке, перед которым без нетреплисовой поддевки показаться нельзя. Весь этот день между ними только и толку было, что про иностранного принца.

Вышедши из больницы, я слонялся по обыкновению по фабрике. Возле одной из кухонь сидело на завалинке несколько человек фабричных, и я услышал следующий разговор:

— И что это, братцы, за принец такой настранный? — говорил один из них: — ведь это царский сын, значит?

— Уж вестимо царский сын, оттого он прынец и называется, — отвечал другой.

— Хорошо; да из какой он, тоись, земли-то приехал, ты мне скажи, — ведь у него таперича все же своя земля должна быть.

— Да ведь хозяин сказывал же, что азиат вишь какой-то, ну, стало, из своей земли и приехал.

— Из азиатской стало? это значит дальше туда, за Туречину?

— Нет, уж это не за Туречину — это почесь за самый Капказ выходит, где одноглазки живут.

— Ишь ты... Значит, братцы мои, ведь там тоже какие-нибудь царства есть — не иначе?

— А то как же? вестимо есть.

В это время к кучке фабричных подошел человек с бородкой и в длиннополом сюртуке. Это был известный мне причетник из фабричной церкви, Ефим Архипыч, преподававший в тамошнем училище какой-то учебный предмет и вследствие того пользовавшийся между фабричными сильным ученым авторитетом.

— Мир вашей компании! О чем беседу ведете? — спросил он, приподняв с головы засаленный суконный картуз.

— Да вот толкуем промеж себя, Ефим Архипыч, какие примерно находятся царства в азиатской земле,—отвечал один из собеседников: — про настранного, значит, прынца толкуем. Ты ведь вот происходил науку-то, чай знаешь...

Хотя Ефим Архипыч и был выгнан из второго класса семинарии за леность и тупоумие, но все-таки успел хватить немного книжной премудрости, имел, стало-быть, смутное понятие и об Азии, но только не из географии, а священной истории.

— Да какие ж там царства...—отвечал он, растопырив пальцы и глубокомысленно наморщив брови: — Вавилонское царство, я знаю, есть там, а больше, кажется, никаких нет...

— Стой! — крикнул тот же фабричный, остановив Ефима Архипыча: — это, значит, то самое место, где столпотворение было?

— По писанию так!

— Так, слышите, ребята? Вон он, прынец-то, откелева, из самого столпотворения, значит.

— Да, поди-ка-сь, вот, не скажи Ефим Архипыч, вжизь бы не узнать, — заговорило несколько голосов.

— Ну, хорошо, Ефим Архипыч, хорошо... во што... — перебил прежний фабричный: — погоди... это прынец, выходит, хорошо, а кто ж там царствует тапереча, — отец его, значит? По имени-отчеству-то не знаешь, как?

— Ну, братцы, и лгать не хочу, не слыхал. Царствовал там допрежде этого царь Навуходоносор, которого бог за гордость и сребролюбие в дикую корову превратил, а теперь не знаю, потому этому время давно.

— Еще, стало-быть, до француза?

— Дальше.

— Так должно полагать, он, прынец-то этот, внучек доводится тому-то... как ты сказал? Худоносову-то?

Ефим Архипыч отвечал ни да ни нет. Фабричные потолковали между собой и тут же решили единогласно, что принц, которого ожидали на фабрику, должен быть принц вавилонский, внучек знаменитого царя вавилонского Худоносова.

Я по обыкновению ночевал на фабрике. Улегшись после ужина в постель, я долго думал обо всех этих происшествиях. И смешно мне было, и горько, и досадно, но пуще всего занимал меня вопрос: что такое задумали Ватрушкины насчет фабричных женщин?

Любопытство меня мучило, но я ждал не долго; загадка объяснилась не дальше как на другой день.

Рано утром я был разбужен страшным шумом под окнами моей комнаты. Я надел халат и выглянул в окно. Возле крыльца толпилось человек двести фабричных баб и девок с какими-то холстинными свертками в руках и кричали все вместе так, что в ушах трещало. На крыльце стоял Сидор Астапыч и, в свою очередь, горячился, топал и махал руками, стараясь восстановить порядок. Бабы не унимались.

— Тише, мерзавки вы эдакие! слушать не стану... говори которая-нибудь одна,—кричал Астапыч.

Наконец бабы мало-по-малу угомонились.

— Ну, что вы хотите? О пустяках каких нибудь пришли толковать?

— Да помилуйте, Сидор Астапыч, — отвечало несколько голосов: — что же это и в самом деле такое?.. Для чего ж это нам холстину-то насильно навязывают?.. Уж хоть бы по одному, а то скроили по три фартука, да и всучили насильно... За них ведь чай надоть деньги платить... В книжки вон записали... Сделай милость, прикажи назад взять, а нам ее и даром не надоть.

Оказалось, что операторы, нарядивши для приезда иностранного принца мужчин, увидели самую логическую необходимость нарядить и женщин. Решено было украсить всех их цветными платками и прикрыть белыми холстинными фартуками с длинными рукавами, которые тотчас же были скроены и, не спрашивая согласия, розданы по рукам, со внесением в *книжки*.

— Да вы поймите... дуры...—уговаривал их Астапыч: — ведь губернатор... принц иностранный...

— Смотри пожалуйста... велико нам дело до твоего прынеца настранного!..— заговорили опять вдруг все бабы: — не токма принец — хошь бы сам окружной приехал... нам-то что до него? Он сам по себе, а мы сами по себе. Он ведь не будет вам за нас деньги платить. Жалованье-то наше не бог знает какое... для всех для них фартуков не нашьешься. Его вон, жалованья-то, на харчи насилу хватает...

Убедившись, что принцем баб не застращаешь, Астапыч прибегнул к другому фортелю.

— Это не от нас, — кричал он, заикаясь: — приказано, чтобы на всех фабриках такие фартуки были, потому что без них вы беспрестанно в машины попадаете. Для вашей же пользы делается, дуры вы этакие... А впрочем, кто несогласен,—прибавил он, разгорячившись,—так долой с фабрики убирайся... На ваше место найдутся — охотниц много.

— Скажите пожалуйста, важность какая!..— снова заговорили на разные голоса бабы: — не уберемся что ли? Да хошь сейчас! Ишь угрозил чем... важное кушанье фабрика-то ваша... умны знать больно... изволь вишь у них всю лавку скупить! Уж коли приказано, чтоб были такие фартуки, так мы в состоянии их из своей холстины сделать... У нас на это своя холстина есть... Зачем же нам за нее в контору-то деньги платить? Ведь это разоренье — да право ей-богу! И штрафы-то вычитают за кажную малость, и харчи-то из лавки бери, да уж на-поди, — и другие

товары стали навязывать... Эдак мы, пожалуй, и к самому хозяину с жалобой пойдем! Да право, на что это похоже?!..

Крик усиливался постепенно. Бабы храбро напирали вперед; две из них вскочили даже на крыльцо и чуть не в нос совали Астапычу своими холстинными свертками. Астапыч заметно трусил и начал понемногу ретироваться к двери.

— Что это? бунт! разбой! я сейчас за становым пошлю! — говорил он, пятясь к дверям.

— Важное кушанье! — кричали бабы: — да хоть за самим исправником — так мы и испужались, смотри-ка-сь!.. Жидоморы эдакие, право жидоморы!.. половину анбара *нетреплису* сбыли, да видно мало — хочется еще всю лавку сбыть!..

Бабы еще сильнее наперли вперед; Астапыч юркнул в дверь и запер ее на крючок. Чтобы не конфузить его, я притворил окно, едва удерживаясь от смеху.

— Экой народ! — проговорил он, вошедши ко мне в комнату и задыхаясь от злости: — приедет становой — человек двадцать непременно надо...

— И действительно стóит, — отвечал я, усмехнувшись: — помилуйте, пользы своей не понимают... И какие они буянки у вас...

Не знаю, как понял мои слова Астапыч.

— А-а... вы еще верно не знаете этого народа...—продолжал он, накладывая трубку:— зарежут... что вы думаете... Меня ведь уж раз хотели утопить в Проворке... бог только спас...

— Что вы?

— Истинная правда... лет пять тому назад... Так, батюшка, окрысились... топить, да и кончено дело...

Я с любопытством ожидал, что он мне расскажет об этом происшествии, но в это время в комнату вошел Никанор Петрович с подробным отчетом о продаже *нетреплиса* и расстроил мои надежды. Я оделся, выпил стакан чаю и пошел в больницу.

Бабы всё еще толпились возле крыльца. Которые побойчее и посердитее, продолжали еще кричать, с азартом размахивая руками, другие поблагоразумнее, рассчитавши, что лучше оставить за собой холстину, нежели идти долой с фабрики, горько плакали, вытираясь рукавами и фартуками; а одна какая-то, бедно одетая бабенка, усевшись в сторонке на камушке, выла, как говорится, на-голос, обращаясь по временам к ребенку, которого в то же время кормила грудью.

— Соси, касатик, соси, — говорила она, всхлипывая, когда я проходил мимо: — не разживутся они на нашу трудовую копейку... Что облито слезами, впрок не пойдет... Не на самих, так на детях, на внуках, на правнуках отзовется... умрут, так не будет, может статься, куска вот и эдакой холстины, чтоб грешное тело прикрыть... Соси, касатик, соси...

Баба снова завыла, я ускорил шаги.

Возвращаясь из больницы, я нагнал на дороге священника, шедшего куда-то со всем причтом.

— Куда это вы, батюшка? — спросил я у него.

— В лавку, молебен служить, — отвечал священник.

— По какому же это случаю?

— Да не знаю, право; хозяева наши, ведь вам известно, купцы, следовательно ни одного дела не начинают и не оканчивают без благословения божия...

## Очерк V.

### Приезд губернатора. — Фейерверк.

Недели через две после того опять мне надобно было отправиться на фабрику. Я ехал, сгорая любопытством узнать между прочим, чем разрешилась там задача насчет приезда иностранного принца,—как вдруг на дороге обогнал меня становой, летевший куда-то сломя голову на тройке, в своем маленьком тарантасе.

— Куда? — крикнул я ему.

— Встречать губернатора! — отвечал становой, махнув рукою по направлению к фабрике, и исчез в облаке пыли.

„А-а! вот в раз-то попал, — подумал я: — то-то катавасия-то там теперь происходит. Вероятно, никто не сомневается, что вместе с губернатором и принц приедет".

И действительно, въезжая на фабрику, я заметил, что там все было в страшном волнении. Бульвар, находившийся перед хозяйским домом, у которого по всем расчетам должны были остановиться экипажи, был усыпан народом. Многие из фабричных были в нетреплисовых поддевках. Старые и малые— все сбежались смотреть иностранного принца.

Любопытнее всего было для меня взглянуть на триумфальные ворота, о которых, в последний мой приезд на фабрику, толковали очень серьезно; однакож затея эта почему-то не была приведена в исполнение— ворота оставались те же самые, и возле них стоял тот же сторож, отставной солдат, только не в полушубке, как обыкновенно, а в форменном военном сюртуке, украшенном галунами и приличными регалиями.

Я проехал прямо в больницу. Там было все, как я уже сказал, в изумительном порядке, так что, если бы читатель мой мог заглянуть в нее в это время, так подумал бы, что я бессовестнейшим образом наврал про нее все, что было сказано во втором моем очерке; только мне показалось, что больных было уж слишком мало.

— Неужели больных только и есть у нас в настоящее время?—спросил я у фельдшера.

— Как можно столько!—отвечал пренаивно Николай Васильич.—Человек восемнадцать с оторванными пальцами Сидор Астапыч спрятать велел....

— Для чего ж это?

— Да как же иначе-то? Ведь если губернатор заметит, сохрани бог, что так много изуродовано народу, так за это знаете что... и фабрику-то, пожалуй, закроют...

— Куда ж вы их спрятали?

— Да вон на чердак заперли.... Пусть их там подежурят...

Мне стало смешно и досадно.

— Ничего,—сказал Николай Васильич.— У нас уж завсегда так: как только приезжает кто-нибудь из эдаких, да если изувеченных

много — всех их не угодно ли на чердак, голубчики...

Я только пожал плечами.

Осмотревши больницу, я тоже пошел поглазеть на приезд губернатора и, не желая показываться ему в моем дорожном костюме, вмешался в толпу.

На дворе хозяйского дома распрягали чью-то дорожную карету; в фабричные ворота въезжал потихоньку тарантас станового. Оказалось, что, пока был я в больнице, губернатор приехал и тотчас же отправился осматривать фабрику.

— Ну, а принц-то иностранный с ним? — спросил я у одного из фабричных.

— Нет, господин доктор, только прождали понапрасну,—отвечал тот с досадой.

— Что ж так?

— Да говорят, что сегодня вишь в ночь персидский салтан зачем-то его к себе в Туречину вытребовал; вон кучер станового рассказывал.

— Укатил, значит?

— Фю-ю... на курьерских!

— Испужался должно, чтоб не втянуло в машину,—прибавил другой фабричный, повернув ко мне голову.

— Не то вы говорите, ребята,—подхватил третий:—он, стал-быть, обиделся, что хозяева трухмальных ворот ему не выстроили.

И фабричные, смутно понимая, что они кругом одурачены, принялись один за другим фантазировать на эту тему и ввертывать в нее словечки одно другого полновеснее.

В это время к тому месту, где я остановился, подошел еще фабричный, одетый в новую

поддевку и уж порядочно подгулявший и, как оказалось потом, с досады...

— Нет... послушай... Тимоха!.. ты растолкуй мне во што... — проговорил он, толкнув кулаком в грудь одного из товарищей: — зачем я таперича нетреплисовую поддевку сшил?.. а? . для коего чорта я ее сшил? Принец вишь настранный, сказали, приедет... Ну, давай сюда настранного принца!.. а?... надул шельма Астапыч!.. Нет, погоди... Стара штука... давай сюда настранного принца! . Знать ничего не хочу!.. давай его сюда, а либо поддевку назад бери!.. Ах, чорт его душу... Вишь ведь каку пружину подвели... а? Тимоха... пружину те каку подладили... Ах, ты .. чо.. нет, погоди... давай сюда настранного принца!

— Да, уж нечего сказать, подвели пружину! — подхватило несколько голосов: — важную!

— Саму настранную, значит.

— Салтанскую!

Между тем подгулявший фабричный шумел все громче и толкал в грудь то того, то другого, повторяя:

— Нет... постой... ты растолкуй мне, зачем я себе нетреплисовую поддевку сшил?.. Вот она... Зачем я ее сшил?.. Нет, погоди!..

В то же время двое фабричных мальчишек, вставши друг перед другом петухами и насучив кулаки, тоже спорили об иностранном принце.

— В Туречину уехал! — кричал один.

— На Капказ! — возражал другой.

— В Туречину!

— На Капказ!

— Хорошенько его! — подзадоривали в толпе: — вот так... в ухо его, в зубы! важно! Ай да Ванюшка! Эх, вы!

И мальчишки, бог знает из-за чего, начали тузить друг друга по чему ни попало. Сейчас же одного из них наименовали туркой, а другого русским.

Кончилось тем, что русский расквасил турке нос, и зрители, утешенные этим маленьким спектаклем, стали мало-по-малу расходиться.

Губернатор был у нас человек новый. Видеть его мне никогда не случалось. Слышал я только, что это был человек строгий и даже немножко сердитый, который не любил давать потачки даже и таким богачам, каковы были Ватрушкины. Чтобы взглянуть на него, я тоже отправился на фабрику.

Когда я пришел, губернатор успел уже осмотреть рабочие корпуса и направлялся в училище, которое тоже существовало на фабрике. Его сопровождали: становой, одетый в полную парадную форму, младший Ватрушкин, Астапыч и несколько человек купцов, родственников Ватрушкина, нарочно съехавшихся по этому случаю на фабрику.

Отделившись немного от этой свиты, важно выступал какой-то человек в черном фраке, солидных лет и величественной наружности, которому все оказывали самое подобострастное уважение. Он нес, небрежно перекинув на руку, пальто на стеганой шелковой подкладке. Я спросил про него у одного из приказчиков и узнал, что это был любимый камердинер губернатора, без которого он не

предпринимал ни одного дальнего путешествия.

Проходя мимо небольшого каменного лабаза, на дверях которого висел пятифунтовый замок, губернатор вдруг остановился и показал на него пальцем.

— Это у вас для какого ж назначения? — спросил он Ватрушкина.

Тот вспыхнул, потом побледнел, переглянулся с Астапычем и заметно смешался. Дело в том, что в этом лабазе была ссыпана у Ватрушкина ржаная мука, из которой пекли для фабричных хлебы, но мука такого сорта, что, прежде нежели она поступала в употребление, то огромные комья, в которые она свалялась от времени, разбивали обыкновенно дубинами.

Губернатор ожидал ответа.

— Сидор Астапыч! что у нас тут? Я, признаться, запамятовал, ваше превосходительство, — отвечал Ватрушкин, обращаясь то к губернатору, то к Сидору Астапычу.

— Я... право .. и сам... — проговорил, заикаясь, Астапыч:—известка... должно-быть... кажется, что в последний раз сюда известку сваживали...

Но губернатор почему-то пожелал видеть и известку. Астапыч засуетился, засовался в разные стороны, отпер дрожащими руками сарай и растворил настежь двери. К счастию, гроза миновала благополучно: губернатор взглянул на огромные массы, действительно свалявшиеся наподобие извести, поморщился, ощутивши не совсем обольстительный запах, плюнул и торопливо отошел прочь; но камердинер нагнулся, взял щепоточку, положил на язык, пожевал, улыбнулся и выплюнул.

Ватрушкин, Астапыч и становой опять переглянулись.

— Ну, а это что у вас такое?— спросил опять губернатор, показывая на вывеску, красовавшуюся над дверьми овощной лавки.

— А это лавка, которая продовольствует фабричных необходимыми съестными припасами,—отвечал Ватрушкин.

— От вас содержится?

— Никак нет-с... помилуйте... как же это возможно-с... ваше превосходительство,— отвечал опять, вспыхнув, Ватрушкин: — совершенно посторонний человек содержит-с... мы в этом случае всячески стараемся, чтоб на нас какого-нибудь нарекания не было со стороны рабочих.

Губернатор вошел в лавку. А как кадка с солониной была на этот раз припрятана куда-то и съестное отделение в лавке было вместо того украшено кадками с янтарным коровьим маслом и аппетитными кусками парной говядины и вообще находилось в самом отличном порядке, то губернатор и остался ею чрезвычайно доволен; однакож, выходя из лавки, погрозился на Никанора Петровича и сказал:

— Смотри у меня, чтоб провизия всегда была свежая!

На это лавочник отвесил ему дюжину полуземных поклонов и пробормотал какие-то несвязные слова, которые показались мне похожими на санскритские.

„Что-то он теперь насчет трактира скажет?“ — подумал я, выходя вместе с другими из лавки; но, к величайшему моему удивлению, вывеска с трактира была снята, ставни

закрыты, и двери плотно заколочены крест-накрест тесницами.

Несмотря на это, губернатор все-таки обратил на него внимание.

— Это что за строение?—спросил он у Ватрушкина.

— А это прежде было у нас училище, ваше превосходительство,—бойко отвечал Ватрушкин,—да в настоящее время упразднено и переведено подальше; вон в энтот дом-с, что вы изволите видеть.

— Ну, для училища здесь, конечно, не место,—сказал, засмеявшись, губернатор:—слишком уж развлечения много.

— Оно, признаться, покойник тятенька для того его здесь и устроил, чтобы, примерно, школьникам учиться веселее было,—заговорил еще бойчее Ватрушкин:—да после, как стал помирать, так и раздумал,—училище завещал перевести вон в то строение, а тут что-нибудь вроде... так... странноприимного дома устроить...

— Для алчущих и жаждущих,—опять перебил, засмеявшись, губернатор:—подвизайтесь, подвизайтесь, господа, доброе дело...

— Что делать, ваше превосходительство?—проговорил, скромно потупившись, Ватрушкин:—если мы, примерно, о ближнем будем заботиться, так и бог об нас позаботится... Тятенька покойник и сам завсегда соблюдал это правило, и нам завещал.

Губернатор только потрепал по плечу доброго Никиту Самсоныча и приказал вести себя в училище, нисколько не подозревая, что восемнадцать человек увечных сидели в это время на больничном чердаке и смотрели на

него в слуховое окно, усердно моля бога, чтоб он ускорил минуту их освобождения.

Наконец губернатор посетил и больницу и отправился обратно в хозяйский дом.

Вся эта история происходила в сентябре месяце. Время клонилось к вечеру; ночи стояли чрезвычайно темные; вследствие чего губернатор объявил, что он ночует на фабрике.

Съехались между тем еще кой-какие лица: прискакал наш исправник, узнав, что губернатор на фабрике, приехал окружной начальник, бывший случайно в гостях у соседнего помещика, и еще кой-кто. Началась суматоха; ужин приготовляли на славу; а как вечер был в этот день необыкновенно хорош, то перед ужином решено было закатить, между прочим, великолепный фейерверк.

Надобно вам сказать, что до фейерверков Ватрушкины были большие охотники. Если когда кто-нибудь из них бывал на фабрике, то не проходило ни одного разу, чтоб не был пущен хоть маленький. Сидор Астапыч был такой мастер этого дела, что, бывало, хоть самого Мореля так за пояс заткнет.

Одним словом, все придумано и распоряжено было так, что, если бы губернатор приехал и вместе с иностранным принцем, то более блестящего приема сделать было ему невозможно. У Ватрушки, как называли его фабричные, были ушки на макушке, ибо такое внимание губернатора давало ему шик и в глазах фабричных, и особенно в глазах своей братии купцов, и даже в собственных своих глазах. Одно только обстоятельство набрасывало тень на сияние его души, — это именно то, что губернаторский камердинер

так предательски улыбнулся, попробовавши на язык муку, которую назвали они известкой.

Не имея возможности, по причине моего костюма, принять участие в общем торжестве, да и утомившись порядочно в этот день, я ушел к себе на квартиру и расположился было уже залечь на боковую, как вдруг, часу в одиннадцатом, прибежал ко мне лакей Ватрушкина и позвал меня от его имени ужинать. Оказалось, что губернатор никогда не ужинал и объявил, что посмотрит фейерверк и тотчас же отправится на ночлег в отведенную для него комнату. Надо было идти — делать нечего. Отказаться у купца от подобного приглашения—значило обидеть его насмерть.

Прихожу. Стол уже был накрыт. Гости толпились все в зале. Губернатор же с окружным начальником сидел на балконе, который выходил в сад, спускавшийся под гору, к реке, на противоположном берегу которой Сидор Астапыч устраивал фейерверк. Там мелькали уже огоньки и суетливо перебегали темные фигуры фабричных. В то же время Ватрушкин, становой и один из приезжих купцов, молодой человек, стояли втроем у окна и горячо рассуждали о чем-то. Я встал недалеко от них и услышал следующий разговор—дело шло о губернаторском камердинере:

— Хорошо, хорошо... Ну, да где ж ты посадишь его ужинать-то?—говорил становой, насмешливо прищурившись на Ватрушкина:— уж не в кухне ли, вместе с кучерами да с лакеями? Посади, сделай милость...

— Зачем же в кухне?— вступился молодой купец: — ему подадут в особенную комнату.

— Да послушайте, господа, — перебил, горячась, становой:—для меня ведь совершенно все равно—хоть в конюшню сажайте, только смотрите, чтоб после не раскаиваться... Я ведь для вашей же пользы советую... Он ведь, любезнейший Никита Сампсоныч, известку-то попробовал... понимаешь?

— Да по мне пожалуй,—отвечал, покраснев, Ватрушкин: — я опасаюсь собственно, чтобы другие не обиделись.

— Кто это?

— Да вот окружной начальник здесь, исправник...

— Полно, сделай одолжение, — перебил опять становой, насмешливо сморщив лицо:— исправник... Ты, брат, об этом у нас спроси... И почище твоего исправника этими людьми-то не брезгуют...

Тут один из старых купцов, с бритой бородой и в немецком платье, подошел, вслушавшись в разговор, к Ватрушкину и сказал, потрепав его по спине:

— Посади, посади, Никита Самсоныч! в убытке не будешь...

Молодой купец махнул рукой и с досадой отошел прочь.

— Что это только хочет делать Никита Самсоныч?—сказал он, относясь ко мне.— Как не стыдно... лакея вместе с другими за стол сажать... Чорт знает...

В эту минуту взвилась ракета и треснула в воздухе. На балконе раздался легкий аплодисмент. Все бросились к окнам, а я, чтоб свободнее полюбоваться на фейерверк, вышел на бульвар и, по обыкновению, вмешался в толпу.

Надобно заметить, что фабричные не совсем охотно смотрели эти фейерверки; отчасти они уже им и приглядились, а главное— всегда как-то так бывало, что перед каждой подобной потехой человек полсотни из них непременно подвергались денежному штрафу. Непременно что-нибудь случалось: или пропажа какая-нибудь, или к обедне не являлся кто-нибудь из фабричных,—обстоятельство, на которое сильно налегал Сидор Астапыч,—или что-нибудь подобное, так что фейерверк и денежный штраф составили наконец нечто общее в их воображении. Перед приездом губернатора штраф тоже не замедлил последовать. Оштрафовано было за разные разности человек двести, но, к счастию, большею частью из тех, кто не покупал *нетреплису*. На фабрике по этому случаю произошло даже некоторое волнение, которое Ватрушкин насилу успокоил, и то с помощию станового. Стало-быть, удовольствие зрителей и на этот раз было отравлено. Несмотря на это, народу, как я уже сказал, сошлось пропасть. Каждый рассчитывал, что фейерверк, предпринятый в честь губернатора, должен быть не совсем обыкновенный. И действительно, Сидор Астапыч превосходил самого себя. Бураки, ракеты, римские свечи и жаворонки летели в воздух в неимоверном количестве и лопались там с таким оглушительным треском, что, вероятно, в нашем уездном городе было слышно. Лучше же всего удавалось Сидору Астапычу огненное колесо с вензелем Ватрушкиных, которое вертелось с изумительной быстротой и не раз с балкона вызывало громкое браво. Несмотря на это, фабричные нисколько не

сочувствовали артисту, и каждый раз, когда дым немного расходился и длинная фигура Астапыча являлась на освещенном фоне— пускали в нее ракеты другого рода...

— Вишь лешие эдакие, право лешие! Штрафных денег набрали, да теперь на них и потешаются!..— толковали в толпе.

Жаворонки летели между тем один выше другого.

— Мишутка! гляди-ка-сь, эвон твой двугривенный-то летит!—острили фабричные:—их ты! на монетки рассыпался!... беги скорей— подставляй шапку!

— Четвертак, четвертак чей-то, ребята! Ну, и этот рассыпался... Таперь Астапыч и рад бы простить, да уж нет его, братцы, ау!

— Тетка Аксинья! гривенник-то твой что ли это летит? лови, дура!

— Ребята, ребята, поддевка чья-то! Фю-ю... в Туречину улетела! Ну!

В то же время, стоявший впереди меня мужичок из соседней деревни охал, кряхтел и говорил, почесывая затылок при каждом выстреле:

— Ох, уж дались им эти феверки... откупиться бы, кажись, рад от них... бедовое дело...

— А что?—спросил я.

— Да как же, ваше благородие?—отвечал мужичок. — Как таперь начнут пушшать эвту самую ракиту, то все коровы у нас в деревне... так... не при вас будь сказано... всё тоись нутро-те из них, кажись, повылезает... кажинный божий раз, право ей-богу.

— Отчего ж это?

— Ну, пужаются, значит... думают примерно, что из пушек палят, потому корова

таперича не то, что лошадь, — скотина она, значит, к шуму непривычная... как выпалит эфтой ракитой, так они и тово...

Явление это показалось мне чрезвычайно интересным. Я заговорился с мужичком и не заметил, как фейерверк кончился и народ вполовину разошелся.

Рассчитав, что ужин с лакеем давно уже начался, я подумал-подумал — и пошел помаленьку домой.

У фабричных ворот я нагнал Абрама Абрамыча, который тоже приходил смотреть фейерверк.

— Как же, мистер Гиль, — спросил я у него: — значит, теленка-то для иностранного принца вы напрасно купили?

— Нет, мой его не купил,—отвечал англичанин.

— Что же, нашли, что ли?

— Нет, мой его нашел, но мой гораздо прежде знал, что принц не приезжает на фабрика. Его мне еще один письмо писал: ты, говорит, Абрам-Абрам, не беспокой себя, а я на фабрика Ватрукин не поехал, потому там, говорит, директор очень народ прижимает...

Фейерверком уж и позвольте мне, читатель, закончить эту книжку фабричных очерков.

# ОГЛАВЛЕНИЕ.

Стр.

А. П. Голицынский и его фабричные очерки. *П. Щеголев* . . . . . 5

Несколько слов от автора . . . . . 11

**Очерки из фабричной жизни:**

Очерк I. Небывалая рыба и особого устройства машина . . . . . 17

Очерк II. Больница . . . . . 36

Очерк III. Дуняша. — Предание о Сидоре Астапыче и амбар с залежавшимся товаром . . . . . 56

Очерк IV. Коммерческая операция. — Толки о вавилонском принце. — Стычка Астапыча с бабами 73

Очерк V. Приезд губернатора. — Фейерверк . . . 93

Рабочее Изд-во „ПРИБОЙ“

Ленинград, ул. Герцена, 15. Тел. 217-79
Москва, Лубянский пассаж, 46 — 49. Тел. 2-24-09

# ИСТОРИЯ РЕВОЛЮЦИОННОГО ДВИЖЕНИЯ В РОССИИ

**Александров, А.** — Октябрь. Ц. 20 к.

**Березовский, Ф.** — Таежные застрельщики. Очерки революционной борьбы 1905 года. Ц. 1 руб.

**Воробьев, В.** — Перед рассветом. Воспоминания 1916 — 1917 гг. Ц. 60 к.

**Воспоминания членов Совета Рабочих Депутатов Петербурга 1905 г.** Ц. 1 р. 25 к.

**Герасимов, А.** — Красный броненосец. (Вооруженное восстание в 1905 г. на броненосце „Потемкин-Таврический“). Ц. 60 к.

**Егоров, И.** — 1905 г. Восстание в Балтийском флоте и на корабле „Память Азова“. Ц 10 к.

**„Искра“.**—№№ 1—52 (декабрь 1900—ноябрь 1903). Полный текст под редакцией и с предислов. П. Лепешинского и со вступительной статьей Н. Крупской. В 7 выпусках. Вышли в свет первые четыре выпуска. Ц. 2 р. 50 к. за выпуск.

**Канатчиков, С.** — Как рождалась Октябрьская революция. Ц. 25 к.

**Рабочее Изд-во „ПРИБОЙ“**

Ленинград, ул. Герцена, 15. Тел. 217-79
Москва, Лубянский пассаж, 46 — 49. Тел. 2-24-09

**Касаткин, К.** — Первая Российская революция. Ц. 50 к.

**Клаас, Г.** — Мои первые шаги на революционном пути. (Воспоминания 1904 — 1905 г.г.). Ц. 30 к.

**Корев, С. и Юрьев, В.** — Историко-революционные вечера в клубе. Ч. III. Ленин и РКП. 1905 г. 1917 г. Ц. 1 р.

**Кривошеина, Е.** — Советы Рабочих Депутатов. Ц. 40 к.

**Леске, Э.** — Страницы из истории комсомола. Очерк по истории социалистического союза рабочей молодежи в Ленинграде 1917—1918 гг. Под редакцией А. Ф. Ильина-Женевского и с предисловием Г. М. Дрязгова. Ц. 50 к.

**Лепешинская, А. К.** — Книга для чтения по истории 1905 г. Ц. 1 р. 40 к.

**Моршанская, М.** — В. К. Курнатовский. Ц. 85 к.

**„Новая Жизнь“** — Первая легальная с.-д. большевистская газета. 27 октября — 3 декабря 1905 г. Полный текст под редакцией и с предисловием М. Ольминского и со вступительными статьями Л. Красина, М. Литвинова, Ис. Гуковского и Е. Смиттен. В 4 выпусках. Цена каждого выпуска 2 р. 50 к.

**Пальвадрэ, Я. К.**—1905 г. в Эстонии. (Печатается).

**Пионтковский, С.** — История рабочего движения в России. Ц. 1 р. 30 к.

...бочее Изд-во „ПРИБОЙ“

Ленинград, ул. Герцена. 15. Тел. 217-79
Москва, Лубянский пассаж, 46 — 49. Тел. 2-24-09

**Гапон, А.**—История моей жизни. Стр. 1 4. Ц. 75 к.
**Краснов, П.**, ген.—На внутреннем фронте. С предисл. и пояснит. примеч. С. Пионтковского. („Библ. для всех“). Стр. 163. Ц. 35 к.
**Мстиславский, С.** — Гибель царизма. Стр. 134. Ц. 70 к.
**Родзянко, М.**—Крушение империи. С предисл. и примеч. С. Пионтковского. Стр. 280. Ц. 1 р.
**Сверчков, Д.**—Керенский. Изд. 2. Стр. 135. Ц. 80 к.
**Его же.** — Три метеора. (Г. Гапон, Г. Носарь, А. Керенский). Стр. 252. Ц. 1 р. 60 к.
**Станкевич, В. Б.**—Воспоминания 1914 — 1919 гг. Стр. 193. Ц. 1 р. 25 к.
**Шульгин, В.**—Дни. Со вступит. статьей и пояснит. примеч. С. Пионтковского („Библиотека для всех“ №№ 285 — 296). Стр. 281. Ц. 45 к.
**Его же.** — 1920 год. Очерки. С предисл. и примеч. С. Пионтковского („Библиотека для всех“ №№ 297 — 306). Стр. 296. Ц. 50 к.

---

**Бабушкин, И.**—Воспоминания (1893 — 1900 гг.). Стр. 191. Ц. 1 р. 10 к.
**Беренштам, Вл.**—В тисках ссылки. Стр. 148. Ц. 60 к.
**Воробьев, В.**—Перед рассветом. (Воспоминания). Стр. 169. Ц. 60 к.
**Ильин-Женевский, А. Ф.** — От февраля к захвату власти. (Печатается).
**Лепешинский, П. Н.**—На повороте. От конца 80-х годов к 1905 г. Стр. 245. Ц. 1 р.
**Минин, С.** — Город-боец. Шесть диктатур 1917 г. (Воспоминания о работе в Царицыне). Стр. 248. Ц. 1 р. 40 к.
**Михайлов, Яков.**—Из жизни рабочего. Воспоминания члена Петербургского Совета Рабочих Депутатов 1905 г. (Лен. Истпарт). Стр. 88. Ц. 40 к.
**Орлов, К.**—Жизнь рабочего-революционера. Стр. 37. Ц. 20 к.
**Петровский, Д.**—Арест. Стр. 30. Ц. 15 к.
**Пирейко, А.**—В тылу и на фронте империалистической войны. Воспоминания рядового (Истпарт). Стр. 63. Ц. 45 к.
**Пятницкий, О.**—Записки большевика. (Воспоминания 1896—1917 гг.). Стр. 193. Ц. 1 р.
**Сандомирский, Г.**—В неволе. Очерки и воспоминания. Стр. 187. Ц. 1 р. 25 к
**Шаповалов, А.**—На пути к марксизму. Записки рабочего революционера. В 3 частях. Стр. 270. Ц. 1 р. 60 к.

Рабочее Изд-во „
Ленинград, ул. Герцена, 15.
Москва, Лубянский пассаж 46 — 49. Тел.

**Пионтковский, С.** — Февральские дни 1917 года. 4-е изд. дополн. Стр. 176. Ц. 1 р.

**Его же.** — 9 Января 1905 г. Ц. 30 к.

**Платонов, А. П.**—Восстание в Черноморском флоте в 1905 г. Ц. 1 р. 30 к.

**Ротенберг, Н.** — Первая русская революция 1905 г. Ц. 65 к.

**Тахтарев, К. М.** — Рабочее движение в Петербурге (1893 — 1901). Ц. 90 к.

**Флеер, М. Г.** — Рабочее движение в России в годы империалистической войны. Ц. 1 р.

**Фельдман, К.** — Потемкинское восстание. (14 — 25 июня 1905 г.). Воспоминания участника с приложением статьи В. Бухгольда «Потемкинцы в Германии». (Печатается).

**Харечко, Г.** — 1905 г. в Донбассе. Ц. 1 р.

**Цветков-Просвещенский. А.** — В годы реакции и нового под'ема (1907 — 1914 г.г.). Ц. 1 р.

**Цедербаум, С. (В. Ежов).** — Женщина в русском революционном движении (1870 — 1905). Ц. 1 р. 50 к.

**Шелавин, К.** — Рабочий класс и ВКП (б) в февральской революции 1917 г. Ц. 90 к.

**Янсон, П.** — Карательная экспедиция в Прибалтийский край 1905 — 1907 г.г. Ц. 60 к.

ЦЕНА 90 КОП.

ТОРГСЕКТОР ИЗД-ВА «ПРИБОЙ»
ЛЕНИНГРАД: УЛИЦА ГЕРЦЕНА,
Д. № 15, ТЕЛЕФОНЫ: 217-79, 217-78.
МОСКОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ:
ЛУБЯНСК. ПАСС., 46—49, Т. 2-24-09.
ОТДЕЛЕНИЯ: В РОСТОВЕ-НА-ДОНУ,
ХАРЬКОВЕ, КИЕВЕ, СВЕРДЛОВСКЕ,
НОВГОРОДЕ, ЧЕРЕПОВЦЕ И В
УЕЗДНЫХ ГОРОДАХ ЛЕНИН-
ГРАДСКОЙ ГУБЕРНИИ